

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 3

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1852–1856 гг.

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений. Том
3. Произведения 1852–1856 гг.**

«Библиотечный фонд»

1852-1856

Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений. Том 3. Произведения 1852–1856 гг.
/ Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1852-1856 — (Весь
Толстой в один клик)

Содержание

Лев Николаевич Толстой	5
Предисловие к электронному изданию	6
ПРОИЗВЕДЕНИЯ	10
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ.	11
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.	12
ПРОИЗВЕДЕНИЯ	15
НАБЕГ.	15
РУБКА ЛЕСА.	31
ИЗ КАВКАЗСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ.	52
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Лев Николаевич Толстой
Полное собрание сочинений. Том 3
Произведения
1852 – 1856 гг.

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва – 1935

Электронное издание осуществлено компаниями [ABBYU](#) и [WEXLER](#) в рамках крауд-сорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#)

Организаторы проекта:

[Государственный музей Л. Н. Толстого](#)

[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)

[Компания АБВУУ](#)

Подготовлено на основе электронной копии 3-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая*

LÉON TOLSTOÏ

OEUVRES COMPLÈTES

SOUS LA RÉDACTION GÉNÉRALE
de V. TCHERTKOFF

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ DE RÉDACTION:
A. GROUSINSKY, N. GOUDZY, N. GOUSSEFF, N. PIKSANOFF,
N. RODIONOFF, P. SAKOULINE, V. SRESNEVSKY, A. TOLSTAÏA,
M. TSIAYLOVSKY et K. CHOKHOB-TROTSKY

SANCTIONNÉE PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION D'ÉTAT:
V. BONTCH-BROULÉVITCH, I. LOUPPOL et M. SVELIEFF

PREMIÈRE SÉRIE
O E U V R E S

TOME
3

ÉDITION D'ÉTAT
MOSCOU — 1 9 3 5

~~1853~~
~~1850~~

Л. Н. Т О Л С Т О Й

П О Л Н О Е С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й

U 1853
1850

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
В. Г. ЧЕРТКОВА

ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТОРСКОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ
А. Е. ГРУЗИНСКОГО, Н. К. ГУДЗНЯ, Н. Н. ГУСЕВА, Н. Е. ПИКСАНОВА,
Н. С. РОДИОНОВА, Н. Н. САКУЛИНА, В. И. СРЕЗНЕВСКОГО, А. Л. ТОЛСТОЙ,
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО и К. С. ШОХОР-ТРОЦКОГО

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
В СОСТАВЕ В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧА, И. К. ЛУШПОЛА
и М. А. САВЕЛЬЕВА

СЕРИЯ ПЕРВАЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Т О М
3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА — 1 9 3 5

Перепечатка разрешается безвозмездно

Reproduction libre pour tous les pays.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1852 – 1856 гг.

**РЕДАКТОРЫ:
Н. М. МЕНДЕЛЬСОН
С. Л. ТОЛСТОЙ**

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ.

В настоящий том входят шесть произведений 1852—1856 гг.: «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный» («Встреча в отряде с московским знакомым»), «Записки маркера», «Метель» и «Два гусара».

Рукописный материал, впервые печатаемый в этом томе, представлен двумя незаконченными произведениями: «Поездка в Мамакай-юрт» и «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», затем вариантами рассказа «Разжалованный», которые показывают, на какие цензурные уступки вынужден был идти Толстой, наконец, вариантами к «Набегу», «Рубке леса» и «Запискам маркера». Из двадцати четырех вариантов «Набега» впервые публикуются пятнадцать; впервые печатаются единственный сохранившийся набросок начала «Рубки леса», а также семь вариантов «Записок маркера».

Рассказ «Святочная ночь (Как гибнет любовь)», в последние годы дважды напечатанный по новой орфографии, впервые дан в орфографии подлинника. Страничка с перечнем глав этого произведения, сделанным в процессе его создания, и два варианта печатаются впервые.

Печатные варианты к «Набегу», «Рубке леса» и «Запискам маркера» по журнальным текстам дают представление об исключительно-суровых цензурных условиях, при которых эти рассказы впервые увидели свет.

В текстологических работах над рассказами «Святочная ночь», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» и «Записки маркера» принимали участие А. И. Толстая-Попова и П. С. Попов.

Н. М. Мендельсон.

С. Л. Толстой.

Москва, 24 июня 1930 г.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с сохранением больших букв и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Н. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Л. Н. Толстого (произведения неотделанные, незаконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «кый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» и т. п., лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова в процессе беглого письма, для экономии времени и сил, писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится [*1 неразобр.*] или: [*2 неразобр.*], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сносках, а в самом тексте и ставятся в ломаных < > скобках; однако в отдельных случаях допускается воспроизведение зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: *Абзац редактора*.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Обозначения: *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Толстого, *** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** – что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.



Л. Н. ТОЛСТОЙ
1851 [?] г.

Размер подлинника

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1852—1856 гг.

НАБЕГ.

РАССКАЗ ВОЛОНТЕРА.

(1852)

I.

Двенадцатого июля капитан Хлопов, в эполетах и шашке – форма, в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видал его, – вошел в низкую дверь моей землянки.

– Я прямо от полковника, – сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я его встретил: – завтра батальон наш выступает.

– Куда? – спросил я.

– В NN. Там назначен сбор войскам.

– А оттуда, верно, будет какое-нибудь движение?

– Должно быть.

– Куда же? как вы думаете?

– Что думать? Я вам говорю, что знаю. Прискакал вчера ночью татарин от генерала – привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собою на два дня сухарей; а куда, зачем, надолго ли? этого, батюшка, не спрашивают: велено идти и – довольно.

– Однако, если сухарей берут только на два дня, стало, и войска продержат не долее.

– Ну, это еще ничего не значит...

– Да как же так? – спросил я с удивлением.

– Да так же! В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц!

– А мне можно будет с вами идти? – спросил я, помолчав немного.

– Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего вам рисковать?..

– Нет уж, позвольте мне не послушаться вашего совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы дожидаться случая видеть дело, – и вы хотите, чтобы я пропустил его.

– Пожалуй, идите; только, право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы пошли с Богом. И славно бы! – сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно; однако я решительно сказал, что ни за что не останусь.

– И чего вы не видали там? – продолжал убеждать меня капитан. – Хочется вам узнать, какие сражения бывают? прочтите Михайловского-Данилевского «Описание Войны» – прекрасная книга: там всё подробно описано, – и где какой корпус стоял, и как сражения происходят.

– Напротив, это-то меня и не занимает, – отвечал я.

– Ну, так что же? вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот, в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода

с нами ходил, в синем плаще в каком-то... так ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь.

Как мне ни совестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его.

– Чтò, он храбрый был? – спросил я его.

– А Бог его знает: всё, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.

– Так, стало быть, храбрый, – сказал я.

– Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают..

– Чтò же вы называете храбрым?

– Храбрый? храбрый? – повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос: – *храбрый тот, который ведет себя как следует*, сказал он, подумав немного.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*.

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.

– Да, – сказал я: – мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, – трусость: поэтому человека, который из тщеславия, или из любопытства, или из алчности рискует жизнью, нельзя назвать храбрым, и, наоборот, человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом.

Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил.

– Ну, уж этого не умею вам доказать, – сказал он, накладывая трубку: – а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.

Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла старого, седого капитана) и – живая грамота – могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка.

– Вот это неопалимой купины наша матушка-заступница, – сказала она, с крестом поцеловав изображение Божией Матери и передавая мне в руки: – потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: как он поехал на *Капказ*, я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образок Божией Матери. Вот уж восемнадцать лет, как Заступница и угодники святые милуют его: ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был!.. Как мне Михайло, чтò с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я чтò и знаю про него, так только от чужих: он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет – меня напугать боится.

(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)

– Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит, – продолжала она: – я его им благословляю. Заступница Пресвятая защитит его! Особенно в сражениях, чтобы он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела.

Я обещался в точности исполнить поручение.

– Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку, – продолжала старушка: – он такой славный! Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери, тоже много помогает; а все из одного жалованья! Истинно век благодарю Бога, – заключила она со слезами на глазах; – что дал Он мне такое дитя.

– Часто он вам пишет? – спросил я.

– Редко, батюшка: нечто в год раз, и то когда с деньгами, так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я вам не пишу, значит жив и здоров, а коли что, избави Бог, случится, так и без меня напишут.

Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей квартире), он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери; капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.

– Да, славная старуха, – сказал он оттуда несколько глухим голосом: – приведет ли еще Бог свидеться.

В этих простых словах выразилось очень много любви и печали.

– Зачем вы здесь служите? – сказал я.

– Надо же служить, – отвечал он с убеждением. – А двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, много значит.

Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он, неизвестно почему, называл не тютюн, а *самброталический табак*. Капитан еще прежде нравился мне: у него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза; но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение.

II.

В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая попашка, с опустившимся пожелтевшим курпеем,¹ и незавидная азиатская шашка через плечо. Беленький маштачок,² на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только мало воинственного, но и красивого, в ней выразилось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение.

Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.

Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какою-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки, и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубокой и широкой балки,³ подле берега небольшой речки, которая в это время *играла*, то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держидерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностью и выпуклостью на прозрачном, золотистом

¹ *Куртей* на кавказском наречии значит овчина.

² *Маштак* на кавказском наречии значит небольшая лошадь.

³ *Балка* на кавказском наречии значит овраг, ущелье.

свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающею ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом, – одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах *самброталического табаку* и трута показался мне необыкновенно приятным.

Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с *тордокангем*⁴ и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания.

Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький и молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой попахе. Поровнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью... Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья, и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.

– И куда скачет? – с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта.

– Кто это такой? – спросил я его.

– Прапорщик Аланин, субалтерн-офицер моей роты... Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.

– Верно, он в первый раз идет в дело? – сказал я.

– То-то и радешенек! – отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой. – Молодость!

– Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.

Капитан помолчал минуте две.

– То-то я и говорю: молодость! – продолжал он басом. – Чему радоваться, ничего не видя! Вот, как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь 20 человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть – уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а после завтра третьему: так чему же радоваться-то?

III.

Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись, и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слышался изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях – большею частью унтер-офицеры – шли с трубками стороной дороги и степенно разговаривали. Троечные навьюченные верхом повозки подвигались шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди;

⁴ *Тордоканге* – крик фазана.

иные, как говорится на Кавказе, джигитовали,⁵ то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неумолимо играли одну песню за другою.

Сажень сто впереди пехоты на большом белом коне, с конными татарами, ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого человека, *который хоть кому правду в глаза отрезжет*, высокий и красивый офицер в азиатской одежде. На нем был черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами,⁶ желтая черкеска и высокая, заломленная назад поха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в красных сафьянных ножнах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удалцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов.

Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных женщин и важных людей – генералов, полковников, адъютантов, – даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени, – но он считал своей неперменной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками⁷ в одной красной рубашке и одних чувяках на босую ногу и как можно громче кричать и браниться, – но всё это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги, и как можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отомстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие поэтические чувства. Но любовница его, – черкешенка, разумеется, – с которой мне после случалось видеться, – говорила, что он был самый добрый и кроткий человек, и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счета на разграфленной бумаге и на коленях молился Богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он

⁵ *Джигит* – по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад *джигитовать* соответствует слову «храбриться».

⁶ *Чиразы* значит галуны, на кавказском наречии.

⁷ *Кунак* – приятель, друг, на кавказском наречии.

услыхал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли; но как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости, ночью, был пожар, и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени.

Фамилия его была *Розенкранц*; но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские.

IV.

Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пылью: становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальонный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами расположился закусывать; капитан лег на траве под ротной повозкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собрались кутить, как то заметно было по расставленным около них флажкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы...
Трай-рай, ра-та-тай...
В прошедшие годы.

В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми... Бедный мальчик! он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке, – не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился наконец на бурку и, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил. Два офицера сидели под повозкой и на погребце играли в дурачки.

Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя было и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой дороге!

V.

В седьмом часу вечера, пыльные и усталые, мы вступили в широкие, укрепленные ворота крепости NN. Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батареи и сады с высокими раинами, окружавшие крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, столпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой полумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией.

Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту, с тем чтобы попросить его доложить о моем намерении генералу. По дороге от форштата, где я остановился, я успел заметить в крепости NN то, чего никак не ожидал. Хорошенькая двухместная каретка, в которой видна была модная шляпка и слышался французский говор, обогнала меня. Из растворенного окна комендантского дома долетали звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки», играемой на плохом, расстроенном фортепьяно. В духане, мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стаканами вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один говорил другому: «Уж позвольте... что насчет политики, Марья Григорьевна у нас первая дама». Сгорбленный жид,⁸ в изношенном сюртуке, с болезненной физиономией, тащил пискливую, сломанную шарманку, и по всему форштату разносились звуки финала из «Лючии». Две женщины в шумящих платьях, повязанные шелковыми платками и с ярко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо меня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, другая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у завалинки низенького домика и принужденно заливались тоненьким смехом, с видимым желанием обратить на себя внимание проходящих офицеров. Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару.

Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского дома. Только что я успел объяснить ему свое желание, и он – сказать мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая каретка, которую я заметил, и остановилась у крыльца. Из кареты вышел высокий, стройный мужчина в пехотном мундире с майорскими эполетами и прошел к генералу.

– Ах, извините, пожалуйста, – сказал мне адъютант, вставая с места: – мне непременно нужно доложить генералу.

– Кто это приехал? – спросил я.

– Графиня, – отвечал он и, застегивая мундир, побежал наверх.

Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но весьма красивый человек, в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще каких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену.

– *Bonsoir, madame la comtesse,*⁹ – сказал он, подавая руку в окно кареты.

Ручка в лайковой перчатке пожала его руку, и хорошенькое, улыбающееся личико в желтой шляпке показалось в окне кареты.

Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, сказал:

– *Vous savez, que j'ai fait vœu de combattre les infidèles; prenez donc garde de le devenir.*¹⁰

⁸ См. ниже в Словаре трудных для понимания слов.

⁹ [Добрый вечер, графиня.]

¹⁰ [Вы знаете, что я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб не сделаться неверной.]

В карете засмеялись.

– Adieu donc, cher général.¹¹

– Non, à revoir, – сказал генерал, всходя на ступеньки лестницы: – n'oubliez pas, que je m'invite pour la soirée de demain.¹²

Карета застучала дальше.

«Вот еще человек, – думал я, возвращаясь домой, – имеющий всё, чего только добиваются русские люди: чин, богатство, знатность, – и этот человек перед боем, который Бог один знает чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как будто он встретился с нею на бале!»

Тут же, у этого же адъютанта, я встретил одного человека, который еще больше удивил меня: это – молодой поручик К. полка, отличавшийся своей почти женской кротостью и робостью, который пришел к адъютанту изливать свою досаду и негодование на людей, которые будто интриговали против него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он говорил, что это гадость так поступать, что это не по-товарищески, что он будет это помнить ему и т. д. Сколько я ни вглядывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили итти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекли... Я совершенно ничего не понимал.

VI.

В десять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем чтобы, как только выедет генерал, догнать его.

Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, образовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставень землянок засветились огни. Стройные раины садов, видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышевыми крышами, казались еще выше и чернее.

Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной дороге... На реке без умолку звенели лягушки;¹³ на улицах слышны были то торопливые шаги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали звуки шарманки: то *виот витры*, то какого-нибудь «Aurora-Walzer».

Я не скажу, о чем я задумался: во-первых, потому, что мне совестно было бы признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и радость, а во-вторых, потому, что это нейдет к моему рассказу. Я задумался так, что даже не заметил, как колокол пробил 11, и генерал со свитою проехал мимо меня.

Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд.

Арьергард еще был в воротах крепости. Насилу пробрался я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками, ротными повозками и шумно распоряжающимися офицерами. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не на версту растянувшиеся, молчаливодвигающиеся в темноте войска и догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии и

¹¹ [Ну, прощайте, дорогой генерал.]

¹² [Нет, до свиданья, – не забудьте, что я напросился к вам завтра вечером.]

¹³ Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек.

ехавших верхом между орудиями офицеров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший: «Агхтингхист, падай пааа-альник!» и голос солдата, торопливо кричавший: «Шевченко! поручик огня спрашивают».

Большая часть неба покрылась длинными темно-серыми тучами; только кое-где между ними блестели неяркие звезды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор, которые виднелись направо, и бросал на вершущки их слабый и дрожащий полусвет, резко противоположный с непроницаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе было тепло и так тихо, что, казалось, ни одна травка, ни одно облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близком расстоянии невозможно было определять предметы; по сторонам дороги представлялись мне то скалы, то животные, то какие-то странные люди, и я узнавал, что это были кусты, только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть росы, которую они были покрыты.

Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную стену, за которой следовало несколько движущихся пятен: это были авангард конницы и генерал со свитой. Сзади нас подвигалась такая же черная мрачная масса; но она была ниже первой: это была пехота.

Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слышались все сливающиеся, исполненные таинственной прелести звуки ночи: далекий заунывный вой чакалок, похожий то на отчаянный плач, то на хохот, звонкие однообразные песни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул, причины которого я никак не мог объяснить себе, и все те ночные, чуть слышные движения природы, которые невозможно ни понять, ни определить, сливались в один полный прекрасный звук, который мы называем тишиною ночи. Тишина эта нарушалась или, скорее, сливалась с глухим топотом копыт и шелестом высокой травы, которые производил медленнодвигающийся отряд.

Только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия, звук столкнувшихся штыков, сдержанный говор и фыркание лошади. По запаху сочной и мокрой травы, которая ложилась под ногами лошади, легкому пару, подымавшемуся над землей, и с двух сторон открытому горизонту можно было заключить, что мы идем по широкому роскошному лугу.

Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственным выражением красоты и добра.

VII.

Мы ехали уже более двух часов. Меня прорбирала дрожь и начинало клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись те же неясные предметы: в некотором отдалении черная стена, такие же движущиеся пятна; подле самого меня круп белой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала задними ногами; спина в белой черкеске, на которой покачивалась винтовка в черном чехле и виднелась белая головка пистолета в шитом кобуре; огонек папиросы, освещающий русые усы, бровь и воротник и руку в замшевой перчатке. Я нагнулся к шее лошади, закрывал глаза и забывался на несколько минут; потом вдруг знакомый топот и шелест поражали меня: я озирался, – и мне казалось, что я стою на месте, что черная стена, которая была передо мной, двигается на меня, или что стена эта остановилась, и я сейчас наеду на нее. В одну из таких минут меня поразил еще сильнее тот приближающийся непрерывный гул, причины которого я не мог отгадать. Это был шум воды. Мы входили в глубокое ущелье

и приближались к горной реке, которая была в это время во всем разливе.¹⁴ Гул усиливался, сырая трава становилась гуще и выше, кусты попадались чаще, и горизонт постепенно суживался. Изредка на мрачном фоне гор вспыхивали в различных местах яркие огни и тотчас же исчезали.

– Скажите, пожалуйста, что это за огни? – спросил я шопотом у татарина, ехавшего подле меня.

– А ты не знаешь? – отвечал он.

– Не знаю.

– *Это горской солома на таяк¹⁵ связал и огонь махать будет.*

– Зачем же это?

– *Чтобы всякий человек знал – русской пришел. – Теперь в аулах, – прибавил он, засмеявшись: – ай-ай, томаша¹⁶ идет, всякий хурда-мурда¹⁷ будет в балка тащить.*

– Разве в горах уже знают, что отряд идет? – спросил я.

– *Эй! как можно не знает! всегда знает: наши народ такой!*

– Так и Шамиль теперь собирается в поход? – спросил я.

– *Йок,¹⁸ – отвечал он, качая головой в знак отрицания. – Шамиль на похода ходит не будет; Шамиль наиб¹⁹ пошлет, а сам труба смотреть будет, наверху.*

– А далеко он живет?

– *Далеко нету. Вот, левая сторона, верста десять будет.*

– Почему же ты знаешь? – спросил я. – Разве ты был там?

– *Был: наша все в горах был.*

– И Шамиля видел?

– *Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид²⁰ кругом. Шамиль середка будет!* – прибавил он с выражением подобострастного уважения.

Взглянув кверху, можно было заметить, что выяснившееся небо начинало светлеть на востоке, и стожары опускаться к горизонту; но в ущелье, по которому мы шли, было сыро и мрачно.

Вдруг немного впереди нас, в темноте, зажглось несколько огоньков; в то же мгновение с визгом прожужжали пули, и среди окружающей тишины далеко раздалась выстрелы и громкий пронзительный крик. Это был неприятельский передовой пикет. Татары, составлявшие его, гикнули, выстрелили наудачу и разбежались.

Всё смолкло. Генерал подозвал переводчика. Татарин в белой черкеске подъехал к нему и о чем-то шопотом и с жестами довольно долго говорил с ним.

– Полковник Хасанов, прикажите рассыпать цепь, – сказал генерал тихим, протяжным, но внятным голосом.

Отряд подошел к реке. Черные горы ущелья остались сзади; начинало светать. Небо-склон, на котором чуть заметны были бледные, неяркие звезды, казался выше; зарница начала ярко блестеть на востоке; свежий, прохватывающий ветерок тянул с запада, и светлый туман, как пар, подымался над шумящей рекой.

¹⁴ Разлив рек на Кавказе бывает в июле месяце.

¹⁵ *Таяк* значит шест, на кавказском наречии.

¹⁶ *Томаша* значит хлопоты, на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках.

¹⁷ *Хурда-мурда* – пожитки, на том же наречии.

¹⁸ *Йок* по-татарски значит нет.

¹⁹ *Наибам* называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления.

²⁰ Слово *мюрид* имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем.

VIII.

Вожак показал брод, и авангард конницы, а вслед за ним и генерал со свитою стали переправляться. Вода была лошадям по груди, с необыкновенной силой рвалась между белых камней, которые в иных местах виднелись на уровне воды, и образовывала около ног лошадей пенящиеся, шумящие струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымали головы, насторожили уши, но мерно и осторожно шагали против течения по неровному дну. Седоки подбирали ноги и оружие. Пехотные солдаты, буквально в одних рубахах, поднимая над водою ружья, на которые надеты были узлы с одеждой, схватясь человек по двадцати рука с рукою, с заметным, по их напряженным лицам, усилием старались противостоять течению. Артиллерийские ездовые с громким криком рысью пускали лошадей в воду. Орудия и зеленые ящики, через которые изредка хлестала вода, звенели о каменное дно; но добрые черноморки дружно натягивали уносы, пенили воду и с мокрым хвостом и гривой выбирались на другой берег.

Как скоро переправа кончилась, генерал вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезность, повернул лошадь и с конницею рысью поехал по широкой, окруженной лесом поляне, открывшейся перед нами. Казачьи конные цепи рассыпались вдоль опушек.

В лесу виднеется пеший человек в черкеске и попохе, другой, третий... Кто-то из офицеров говорит: «это татары». Вот показался дымок из-за дерева... выстрел, другой... Наши частые выстрелы заглушают неприятельские. Только изредка пуля, с медленным звуком, похожим на полет пчелы, пролетая мимо, доказывает, что не все выстрелы наши. Вот пехота беглым шагом и орудия на рысях прошли в цепь; слышатся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета картечи, шипение ракет, трескотня ружей. Конница, пехота и артиллерия виднеются со всех сторон по обширной поляне. Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росой зеленью и туманом. Полковник Хасанов подскакивает к генералу и на всем марш-марше круто останавливает лошадь.

– Ваше превосходительство! – говорит он, приставляя руку к попохе, – прикажите пустить кавалерию: показались значки,²¹ – и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях с красными и синими лоскутами на палках.

– С Богом, Иван Михайлыч! – говорит генерал.

Полковник на месте поворачивает лошадь, выхватывает шашку и кричит: «Ура!»

– Урра! Урра! Урра! – раздается в рядах, и конница несется за ним.

Все смотрят с участием, вон значок, другой, третий, четвертый...

Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда ружейный огонь. Пули летают чаще.

– *Quel charmant coup d'oeil!*²² – говорит генерал, слегка припрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке.

– *Charmant!* – отвечает грассируя майор и, ударяя плетью по лошади, подъезжает к генералу. – *C'est un vrrai plaisir, que la guerre dans un aussi beau pays,*²³ – говорит он.

– *Et surtout en bonne compagnie,*²⁴ – прибавляет генерал с приятной улыбкой.

Майор наклоняется.

В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воин-

²¹ Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его.

²² [Какое прекрасное зрелище!]

²³ [Очаровательно! Истинное наслаждение – воевать в такой прелестной стране,]

²⁴ [И особенно в хорошей компании,]

ственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть; но никто, кроме меня, как будто не замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечением; другой офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова речи; генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски.

– Прикажете отвечать на их выстрелы? – спрашивает, подсказывая, начальник артиллерии.

– Да, попугайте их, – небрежно говорит генерал, закуривая сигару.

Батарея выстраивается, и начинается пальба. Земля стонет от выстрелов, огни беспрестанно вспыхивают, и дым, в котором едва можно различить движущуюся прислугу около орудий, застилает глаза.

Аул обстрелян. Снова подъезжает полковник Хасанов и, по приказанию генерала, летит в аул. Крик войны снова раздается, и конница исчезает в поднятом ею облаке пыли.

Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что мне казалось лишним – и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух.

IX.

Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитой, в которую вмещался и я, подъехал к нему.

Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми²⁵ деревьями; с другой – торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)

Войска в порядке стояли за воротами.

Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву, и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган²⁶ с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю.

Батальон, с которым я шел из крепости N, тоже был в ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма *самброталического табаку* с таким равнодушным видом, что, когда я увидел его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома.

– А! и вы тут? – сказал он, заметив меня.

Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям мелькала в ауле; он без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с торжествующим видом вышел из одной сакли; вслед за ним двое солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва держалась в плечах, и кривые босые ноги насилу передвигались. Лицо его и

²⁵ *Льча* – мелкая слива.

²⁶ *Кумган* – горшок.

даже часть бритой головы были изрыты глубокими морщинами; искривленный беззубый рот, окруженный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных, лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выразалось старческое равнодушие к жизни.

Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не ушел с другими.

– Куда мне идти? – сказал он, спокойно глядя в сторону

– Туда, куда другие ушли, – заметил кто-то.

– Джигиты пошли драться с русскими, а я старик.

– Разве ты не боишься русских?

– Что мне русские сделают? Я старик, – сказал он опять, небрежно оглядывая кружок, составившийся около него.

Возвращаясь назад, я видел, как этот старик, без шапки, со связанными руками, трясся за седлом линейного казака и с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он был необходим для размена пленных.

Я влез на крышу и расположился подле капитана.

– Неприятеля, кажется, было немного, – сказал я ему, желая узнать его мнение о бывшем деле.

– Неприятеля? – повторил он с удивлением: – да его вовсе не было. Разве это называется неприятель?.. Вот вечерком посмотрите, как мы отступить станем: увидите, как провожать начнут: что их там высыплет! – прибавил он, указывая трубкой на перелесок, который мы проходили утром.

– Что это такое? – спросил я с беспокойством, прерывая капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около чего-то донских казаков.

Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка и слова:

– Э, не руби... стой... увидят... Нож есть, Евстигнейч?.. Давай нож...

– Чтонибудь делят, подлецы, – спокойно сказал капитан.

Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам.

– Не трогайте, не бейте его! – кричал он детским голосом.

Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно растерялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана, он покраснел еще больше и, припрыгивая, подбежал к нам.

– Я думал, что это они ребенка хотят убить, – сказал он, робко улыбаясь.

Х.

Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым я шел из крепости N, остался в арьергарде. Роты капитана Хлопова и поручика Розенкранца отступали вместе.

Предсказание капитана вполне оправдалось: как только мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие горцы, и так близко, что я очень хорошо видел, как некоторые, согнувшись, с винтовкой в руках, перебежали от одного дерева к другому.

Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье, слова: «ий гяур! Урус ий!» Сухие, короткие винтовочные выстрелы следовали один за другим, и пули визжали с обеих сторон. Наши молча отвечали

беглым огнем; в рядах их только изредка слышались замечания в роде следующих: «он²⁷ откуда палит, ему хорошо из-за леса, орудию бы нужно...» и т. д.

Орудия въезжали в цепь, и после нескольких залпов картечью неприятель, казалось, ослабевал, но через минуту и с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал огонь, крики и гиканье.

Едва мы отступили сажен на триста от аула, как над нами со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как ядром убило солдата... Но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее!

Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был несколько бледен, и это очень шло к его воинственному лицу.

Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься на ура.

– Мы их отобьем, – убедительно говорил он: – право, отобьем.

– Не нужно, – кратко отвечал капитан: – надо отступить.

Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля. Капитан в своем изношенном сюртуке и взъерошенной шапочке, опустив поводья белому маштачку и подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на одном месте. (Солдаты так хорошо знали и делали свое дело, что нечего было приказывать им.) Только изредка он возвышал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы.

В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», сказалось мне невольно.

Он был *точно таким же, каким я всегда видал его*: те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать: *таким же, как и всегда*. Но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться.

Француз, который при Ватерлоо сказал: «*la garde meurt, mais ne se rend pas*»,²⁸ и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости; и как же после этого не болей русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству?..

Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик со взводом, послышалось недружное и негромкое ура. Оглянувшись на этот крик, я увидел человек тридцать солдат, которые с ружьями в руках и мешками на плечах насилу-насилу бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но всё подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шашку, скакал молодой прапорщик.

Всё скрылось в лесу...

²⁷ Он – собирательное название, под которым кавказские солдаты понимают вообще неприятеля.

²⁸ [«гвардия умирает, но не сдается» .]

Через несколько минут гиканья и трескотни из лесу выбежала испуганная лошадь, и в опушке показались солдаты, выносившие убитых и раненых; в числе последних был молодой прапорщик. Два солдата держали его под мышки. Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко.

– Ах, какая жалость! – сказал я невольно, отворачиваясь от этого печального зрелища.

– Известно, жалко, – сказал старый солдат, который, с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня. – Ничего не боится: как же этак можно! – прибавил он, пристально глядя на раненого. – Глуп еще – вот и поплатился.

– А ты разве боишься? – спросил я.

– А то нет!

XI.

Четыре солдата на носилках несли прапорщика; за ними форштатский солдат вел худую, разбитую лошадь, с навьюченными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого.

– Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать с ложечками, – сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц.

Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика; но, сколько можно было заметить по холодно-печальному выражению взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия.

Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого, и на всегда равнодушно-холодном лице его выразилось искреннее сожаление.

– Чтò, дорогой мой Анатолий Иваныч? – сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него: – видно, так Богу угодно.

Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печальной улыбкой.

– Да, вас не послушался.

– Скажите лучше: так Богу угодно, – повторил капитан.

Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому.

– Чтò, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, – сказал он шутливо-небрежным тоном: – покажите-ка.

Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний. Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон; но выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку...

– Оставьте меня, – сказал он чуть слышным голосом: – всё равно я умру.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата: «чтò прапорщик?» мне отвечали: «*отходит*».

XII.

Уже было поздно, когда отряд, построившись широкой колонной, с песнями подходил к крепости.

Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановившееся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые горы начинали

скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росой. Темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху.

РУБКА ЛЕСА.

РАССКАЗ ЮНКЕРА.

(1852—1854)

I.

В середине зимы 185. года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером 14-го февраля, узнав, что взвод, которым я командовал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь, лег на свою построенную на кольшках постель, надвинул на глаза попаху, закутался в шубу и заснул тем особенным, крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела на завтра привело меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза.

– Извольте вставать, – сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул.

– Извольте вставать, – повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. – Пехота выступает. – Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный, спокойный храп, вдали движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом; по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга.

Только по фырканию и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников – где стоят орудия. Со словами: «с Богом», зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотою, взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника.

– А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович! – сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

– Кого?

– Веленчука нет-с. Как запрягали, он всё тут был, – я его видал, – а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысало несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед затем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, – а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

– Где он был? – спросил я у Антонова.

- В парке спал.
- ЧТО, он хмелен, что ли?
- Никак нет.
- Так отчего же он заснул?
- Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханным бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались стрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбуждительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.

Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег извиистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы, с некоторым соперничеством перед пехотными, разложили свой костер, и, хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвевшая белая трава оттаивала кругом костра, солдатам всё казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували всё больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю.

– Ты форостинку зажги да подай, – сказал другой. – Пальник, братцы, подайте, – сказал третий.

Когда я, наконец, без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда, наконец, ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде епанчи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился.

– Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! – сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.

II.

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

- 1) Покорных.
- 2) Начальствующих и
- 3) Отчаянных.

Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных, б) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на а) начальствующих суровых и б) начальствующих политичных.

Отчаянные подразделяются на а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип, – тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле Божьей, – есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем несокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого – ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключаящий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда Мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении – отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство природы и удаль, – и так же ужасно дурен во втором подразделении – отчаянных развратных, которые однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удалство в пороке – главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже 15 лет на службе и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью нехвата, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеичу; но в ту самую ночь, когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастье: сукно, которое стоило *семь рублей*, в ночь пропало! Веленчук, со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями, объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про свое неучастие, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальству-

ющий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими делочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастья. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастье. Он не пил, не ел, работать даже не мог и всё плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-Богу, последние, Михаил Дорофеич, – и те у Жданова занял, – сказал он, снова всхлипывая, – а еще два рубля ей-ей отдам, как заработаю. Он (кто был *он*, не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он – ехидная его мерзкая душа – у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, 15 лет служа...» К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

III.

Кроме Веленчука, около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне; но глаза его оставались устремленными на огонь, и только гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас *не что иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет*. В сущности Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело; но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова: «происходит» и «продолжать», и когда, бывало, скажет: «происходит» или «продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимыча. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов, – тот самый бомбардир Антонов, который еще в 37-м году, втроем, оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не карахтер его», говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смиреннее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком: не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда негодным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на Маслянице и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязыванья к орудию, пьянствовал и буянил до самого Чистого Понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру, с короткими, выгнутыми ножками и глянцевою усатой рожей, когда он, бывало, под хмельком возьмет в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью в накидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдет по улице, –

надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему не-солдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять; каким образом не подражаться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще не-артиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми усиками, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был *забавник*. В трескучий ли мороз, по колено в грязи, два дня не евши, в походе, на смотру, на ученьи, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделывал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал «Фильку»,²⁹ или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирало со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но, действительно, в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и главное – способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что, казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Всё свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало, – со старшими чином, хотя и младшими летами, он был холодно-почтителен, с равными, как не пьющий, он имел мало случаев сходитьсь; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей 25, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что когда, 10 лет тому назад, он рекрутом пришел, и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уж не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал», говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастья пропажи шинели и многим, многим другим во время своей 25-летней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело, храбрее и исправнее солдата; но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был 15 лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не

²⁹ Солдатская игра в карты.

умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выраженья. Белая, как лунь, голова, нафабранные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое; но, взглядевшись ближе в его большие, круглые глаза, особенно, когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское, вдруг поражало вас.

IV.

– Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! – повторил Веленчук.

– А ты бы *сихарки* курил, милый человек! – заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая. – Я так всё *сихарки* дома курю, она слаще!

Разумеется, все покатались со смеху.

– То-то, трубку забыл, – перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. – Ты где там пропадал? а, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

– Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.

– Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось, – отвечал Веленчук. – С какой радости напился! – проворчал он.

– То-то; а из-за вашего брата отвечаешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете – вовсе безобразно, – заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

– Ведь вот чудо-то, братцы мои, – продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращая ни к кому в особенности: – право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу – такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строиться, я собрался как следует – ничего не было, да вдруг у парке как *она* схватит меня... схватила, схватила, повалила меня наземь, да и всё... И как заснул, сам не слышал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть, – заключил он.

– Ведь и то насилу я тебя разбудил, – сказал Антонов, натягивая сапог: – уж я тебя толкал, толкал... ровно чурбан какой!

– Вишь ты, – заметил Веленчук: – добро уж пьяный бы был...

– Так-то у нас дома баба была, – начал Чикин: – так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит, – так тоже всё на нее сон находил. Так-то, милый человек!

– А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, – сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «не угодно ли тоже послушать глупого человека?»

– Какой тон, Федор Максимыч! – сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд: – известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.

– Ну да, как же, как же! Ты не модничай... расскажи, как ты им *предводительствовал*?

– Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем, – начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое: – я говорю, живем хорошо, милый человек: провиант сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на *солдата*, а в обед идет господский *суп* из перловых *круп*, а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!

– Важная модера! – громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук. – Вот так модера!

– Ну, а про эзяттов как рассказывал? – продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.

Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда, наконец, он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал.

– Тоже спрашивают, какой, говорит, там, малый, черкес, говорит, или турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одному глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! – прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором, действительно, была уморительная шапочка с красным верхом.

Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом: «вот так тавлинцы!»

– А то еще, говорю, мумры есть, – продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку: – те другие, – двойнешки маленькие, вот такие. Всё по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь. – Как же, говорит, малый, как же они, мумры-то, рука с рукой так и рождаются, что ли? – воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом. – Да, говорю, милый человек, он такой от природы. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, всё равно что китаец: шапку с него сними, она, кровь, пойдет. – А кажи, малый, как они бьют-то? – говорит. – Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку и мотают, и мотают. Они мотают, а ты смеешься; дотелева смеешься, что дух вон...

– Ну, что ж, и имели к тебе доверие, Чикин? – сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.

– И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют всему, ей-Богу, верют! А стал им про гору *Кизбек* сказывать, что на ней всё лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! – Что ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит. – Поди ты! – заключил Чикин, подмигивая.

V.

Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко; серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.

Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.

«Это еще было не дело, а одна потеха-с», как говорил добрый капитан Хлопов.

Командир 9-й егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом, на расстоянии от нас более 600 сажен, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.

– Видите, – говорил он, с доброй и убедительной улыбкой протягивая руку из-за моего плеча: – где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон зади еще два. Видите? Нельзя ли их, пожалуйста...

– А вон еще трое едут, по-под лесом, – прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время: – еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, вашбородие!

– Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся, – сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.

– Должно, в нашу цепь, прохвост! – заметил другой.

– Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят – орудию поставить хотят, – добавил третий. – Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали...

– А как думаешь, как раз дотолева фатит, милый человек? – спросил Чикин.

– Пятсот либо пятсот двадцать сажен, больше не будет, – как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему так же, как и другим, ужасно хотелось выпалить: – коли 45 линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.

– Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в кого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить, – продолжал упрасивать меня ротный командир.

– Прикажете навести орудие? – отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.

Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести 2-е орудие.

Едва я успел указать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево.

– Чуть-чуть влево... самую малость вправо... еще, еще трошки... так ладно, – сказал он, с гордым видом отходя от орудия.

Пехотный офицер, я, Максимов, один за другим приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения.

– Ей-Богу, перенесет, – заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел чрез плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это. – Е-е-ей-Богу, перенесет, прямо в ту дерево попанет, братцы мои!

– Второе! – скомандовал я.

Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда, трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделился металлический, жужжащий, с быстротою молнии удалявшийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.

Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расказакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.

«Вот важно-то! Эк поскакали! Вишь, черти, не любят!» послышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.

– Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, – заметил Веленчук. – Говорил, в дереву попанет: оно и есть – взяло вправо.

VI.

Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку *бонжуралми*. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Погово-

рив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя не высказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? и на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.

– Когда этот отряд кончится? – сказал он лениво: – скучно!

– Мне не скучно, – сказал я: – ведь в штабе еще скучнее.

– О, в штабе в десять тысяч раз хуже, – сказал он со злостью. – Нет! когда всё это совсем кончится?

– Что же вы хотите, чтоб кончилось? – спросил я.

– Всё, совсем!.. Чтò же, готовы битки, Николаев? – спросил он.

– Для чего же вы пошли служить на Кавказ, – сказал я: – коли Кавказ вам так не нравится?

– Знаете, для чего, – отвечал он с решительной откровенностью: – по преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.

– Да, это почти правда, – сказал я: – бòльшая часть из нас...

– Но чтò лучше всего, – перебил он меня, – что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройств дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, – всё это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлискую и т. д...

– Да, – сказал я смеясь: – мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?..

– Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ, – перебил он меня.

– Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе.

– Может быть, и хорош, – продолжал он с какою-то раздражительностью: – знаю только то, что я не хорош на Кавказе.

– Отчего же так? – сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

– Оттого, что, во-первых, *он* обманул меня. Всё то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, всё приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде всё это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязенькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное – то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности... просто, я не храбр...

– Он остановился и посмотрел на меня. – Без шуток.

Хотя это непростительное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.

– Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле, – продолжал он: – и вы не можете себе представить, чтò со мной вчера было. Когда фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел, как полотно, и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не протерпел в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот чтò идет, – прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. – И чтò смешно, – продолжал он:

– что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело. – Вино есть, Николаев? – прибавил он, зевая.

– Это *он*, братцы мои! – послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, – и все глаза обратились на опушку дальнего леса.

Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, всё, что было на моих глазах в эту минуту, всё вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева, – всё это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.

– Вы где брали вино? – лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один – Господи, прими дух мой с миром, другой – надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, – и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.

– Вот, если бы я был Наполеон или Фридрих, – сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне: – я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.

– Да вы и теперь сказали, – отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью.

– Да что ж, что сказал: никто не запишет.

– А я запишу.

– Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенко, – прибавил он улыбаясь.

– Тьфу ты проклятый! – сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону: – трошки по ногам не задела.

Всё мое старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания.

VII.

Неприятель, действительно, поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут 20 или 30 посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.

Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, всё вдруг замолкало, среди мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: «сторонись, ребята!» и все глаза устремлялись на ядро, рикошетиравшее по кострам и срубленным сучьям.

Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блески инея. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцевиной дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов.

Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик,

выехали вперед; в пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в арьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья... Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.

По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра – пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел общий хохот.

Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал на бок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков. «Чтò, знакомая, что ли, что кланяешься?» говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направлению, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Чтò ж *он* нас даром-то бьет? Кабы туда орудию поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы небось».

Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.

– Картечь! – крикнул Антонов лихо, в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был выпущен.

В это время недалеко сзади себя я услышал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело», подумал я, но вместе с тем боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» – раздирающий стон раненого. «Задело, братцы мои!» проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

Всё это я разобрал гораздо после; в первую минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.

Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова, только рекрутик пробормотал что-то в роде: «вишь ты как, в кровь», и Антонов, нахмурившись, крикнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с большей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.

VIII.

Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. «Чтò стали? берись!» крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных, помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.

– Чтò кричишь, как заяц! – сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу: – а нето бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «ох, смерть моя! о-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами – должно быть, прощался – тихим, но внятным голосом.

В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей взять его на перевязочный пункт и отошел к орудиям; но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.

На дне ее, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.

Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он про-
сил снять с левой ноги чересок³⁰ с деньгами.

Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.

– Тут три монеты и полтинник, – сказал он мне в то время, как я брал в руки черес: – уж вы их сберегите.

Повозка было тронулась; но он остановил ее.

– Я поручику Сулимовскому шинель работал. О... они мне 2 монеты дали. На 1 1/2 я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.

– Хорошо, хорошо, – сказал я: – выздоравливай, братец!

Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздражающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение.

IX.

– Ты куда? Вернись! Куда ты идешь? – закричал я рекрутику, который, положив под мышку свой запасный пальник, с какой-то палочкой в руках прехладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого.

Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня.

– Куда ты шел? – спросил я.

– В лагерь.

– Зачем?

– А как же – Веленчука-то ранили, – сказал он, опять улыбаясь.

– Так тебе-то что? ты должен здесь оставаться.

Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту.

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубил леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать

³⁰ Черес – кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом.

нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра 3-й батальон К. полка и взвод 4-х-батарейной. Повозки и дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах, – все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с 3-м батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра.

Х.

Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий: расставляли передки, ящики, разбирали коновязь, пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашу.

Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую, сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели; горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шеей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжелое, неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению.

Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла колебаться в решительную минуту.

– Ваше здоровье, – сказал мне подошедший Николаев: – пожалуйста к капитану, просят чай кушать.

Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чаю и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли. «Что, нашел?» послышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек.

– Привел, ваше благородие! – басом отвечал Николаев.

В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без запаха. Подле него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнул штык со свечкой. «Каково?» с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Веленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом.

После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

– А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром? – сказал он.

– Нет. Отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо.

– Отчего? Нет! Ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасностей и службы, я бы ни минуты не задумался.

– Отчего же вы не перейдете в Россию? – сказал я.

– Отчего? – повторил он. – О! я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда.

– Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе?

– Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал. Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое утвердили Пассек, Слепцов и др., что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого; а я вот два года здесь, в двух экспедициях был и ничего не получил. Но всё-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уж втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу, и, верно, они тоже очень мало обо мне заботятся; но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года, всё счастье жизни, всю будущность свою погублю.

XI.

В это время послышался снаружи голос батальонного командира: «с кем это вы, Николай Федорыч?»

Болхов назвал меня, и вслед затем в балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко.

Кирсанов был невысокий, полный мужчина, с черными усиками, румяными щеками и масляными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда престранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого: подчиненные не бранили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым.

– О чем это толкуете, Николай Федорыч? – сказал он входя.

– Да вот о приятностях здешней службы.

Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Волхова и глядя на барабан, спросил:

– ЧТО, устали, Николай Федорыч?

– Нет, ведь мы... – начал было Болхов.

Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:

– А ведь славное дело было нынче?

Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик, со стыдливом и добродушно-приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по несколько часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру, как одну возможную при своем образовании, и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание, – тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кисет, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он с своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил: «я редко наказываю; но уж когда меня доведут до этого, то беда», и что когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел приготовить всё для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить: «ну, вот видишь... ведь я могу...», и, совершенно растерявшись, убежал

домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и, краснея до ушей, уверял, что это неправда, а совсем напротив.

Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, т. е. человек, для которого рота, которою он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, – родиной, а песенники – единственными удовольствиями жизни, – человек, для которого всё, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия; всё же, что было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души, и главное – он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным и отчаянной прямооты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крыши, потом вдруг опустилсЯ и сел на землю.

– Ну, что? – сказал он и, вдруг заметив мое незнакомое для него лицо, остановился, вперил в меня мутный, пристальный взгляд.

– Так о чем это вы беседовали? – спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя, я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого.

– Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь.

– Разумеется, Николай Федорыч хочет здесь отличиться и потом во-своЯси.

– Ну, а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе?

– Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить. Что? – прибавил он, хотя все молчали. – Вчера я получил письмо из России, Николай Федорыч, – продолжал он, видимо желая переменить разговор: – мне пишут, что... такие вопросы странные делают.

– Какие же вопросы? – спросил Болхов.

Он засмеялся.

– Право, странные вопросы... Мне пишут, что может ли быть ревность без любви... Что? – спросил он, оглядываясь на всех нас.

– Вот как! – сказал, улыбаясь, Болхов.

– Да, знаете, в России хорошо, – продолжал он, как будто фразы его весьма естественно вытекали одна из другой. – Когда я в 52 г. был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошел, так знаете... очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала и спрашивала про Кавказ, и все так... что я не знал... Мою золотую шашку смотрят, как редкость какую-нибудь, спрашивают: за что шашку получил, за что – Анну, за что – Владимира, и я им так рассказывал... Что? Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорыч! – продолжал он, не дожидаясь ответа: – там смотрят на нашего брата, кавказца, очень хорошо. Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром – это много значит в России... Что?

– Вы и прихвастнули-таки, я думаю, Абрам Ильич? – сказал Болхов.

– Хи-хи! – засмеялся он своим глупым смехом. – Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца!

– А что, хорошо там, в России-то? – сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию.

– Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх!

– Да что вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Не даром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют... А, Болхов? – прибавил он.

– Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе, – сказал Болхов: – а помнишь, что Ермолов сказал; а Абрам Ильич только шесть...

– Какой десять! скоро шестнадцать.

– Вели же, Болхов, *шолфею* дать. Сыро, бррр!.. А? – прибавил он улыбаясь: – выпьем, майор!

Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же видимо съезжился и искал убежища в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы.

– Вот я так уж никогда туда не поеду, – продолжал Тросенко, не обращая внимания на насупившегося майора: – я и ходить и говорить-то по русскому отвык. Скажут: что за чудо такая приехало? Сказано, Азия! Так, Николай Федорыч? Да и что мне в России! Всё равно, тут когда-нибудь подстрелят. Спросят: где Тросенко? Подстрелили. Что вы тогда с восьмой ротой сделаете... а? – прибавил он, обращаясь постоянно к майору.

– Послать дежурного по батальону! – крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя, я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний.

– А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе? – сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту.

– Как же-с, очень-с.

– Я нахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Николай Федорыч, – продолжал он: – молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую.

– Нет, право, Абрам Ильич, – робко сказал адъютант: – хоть оно и двойное, а только что так... ведь лошадь надо иметь...

– Что вы мне говорите, молодой человек! Я сам прапорщиком был и знаю. Поверьте, с порядком жить очень можно. Да вот вам, сочтите, – прибавил он, загибая мизинец левой руки.

– Всё вперед жалованье забираем – вот вам и счет, – сказал Тросенко, выпивая рюмку водки.

– Ну, да ведь на это что же вы хотите... Что?

В это время в отверстие балагана всунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал:

– Вы здесь, Абрам Ильич? а дежурный ищет вас.

– Заходите, Крафт! – сказал Болхов.

Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки.

– А, милый капитан! и вы тут? – сказал он, обращаясь к Тросенке.

Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцаловал его в губы.

«Это немец, который хочет быть хорошим товарищем», подумал я.

ХII.

Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее *горилкой*, и ужасно крякнул и закинул голову, выпивая рюмку.

– Что, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни... – начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания.

– Что, вы обошли цепь?

– Обошел-с.

– А секреты высланы?

– Высланы-с.

– Так вы передайте приказание ротным командирам, чтобы были как можно осторожнее.

– Слушаю-с.

Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался.

– Да скажите, что люди могут теперь варить кашу.

– Они уж варят.

– Хорошо. Можете итти-с.

– Ну-с, так вот мы считали, что нужно офицеру, – продолжал майор со снисходительной улыбкой обращаясь к нам. – Давайте считать.

– Нужно вам один мундир и брюки... так-с?

– Так-с.

– Это, положим, пятьдесят рублей на два года, стало быть, в год двадцать пять рублей на одежду; потом на еду, каждый день по два абаза... так-с?

– Так-с; это даже много.

– Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта 30 руб.– вот и всё. Выходит всего 25 да 120 да 30 = 175. Всё вам остается еще на роскошь, на чай и на сахар, на табак – рублей двадцать. Извольте видеть?.. Правда, Николай Федорыч?

– Нет-с. Позвольте, Абрам Ильич! – робко сказал адъютант: – ничего-с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься; а сапоги? я ведь почти каждый месяц пару истреплю-с. Потом-с белье-с, рубашки, полотенца, подвертки: всё ведь это нужно купить-с. А как сочтешь, ничего не останется-с. Это, ей-Богу-с, Абрам Ильич!

– Да, подвертки прекрасно носить, – сказал вдруг Крафт после минутного молчания, с особенной любовью произнося слово подвертки: – знаете, просто, по-русски.

– Я вам скажу, – заметил Тросенко: – как ни считай, всё выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. Послужишь с мое, – продолжал он, обращаясь к прапорщику: – тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается?

И Тросенко, помирая со смеху, рассказал нам всю историю прапорщика с своим денщиком, хотя мы все ее тысячу раз слышали.

– Да ты что, брат, таким розаном смотришь? – продолжал он, обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него. – Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пусти-ка сюда какого молодчика из России – видали мы их, – так у него тут и спазмы, и ревматизмы какие-то сделались бы; а я вот, сел тут – мне здесь и дом, и постель, и всё. Видишь...

При этом он выпил еще рюмку водки.

– А? – прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту.

– Вот это я уважаю! вот это истинно старый кавказец! Позвольте вашу руку.

И Крафт растолкал всех нас, продрался к Тросенке и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством.

– Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего, – продолжал он: – в сорок пятом году... ведь вы изволили быть там, капитан? Помните ночь с 12 на 13, когда по коленки в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы? Я тогда был при главнокомандующем, и мы 15 завалов взяли в один день. Помните, капитан?

Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился.

– Извольте видеть... – начал Крафт чрезвычайно одушевленно, делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.

Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Болхову, попеременно глядя то на того, то на другого. На Тросенку же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа.

– Вот извольте видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий и говорит мне: «Крафт! возьми эти завалы». Знаете, наша военная служба, без рассуждений – руку к козырьку.

«Слушаю, ваше сиятельство!» и пошел. Только, как мы подошли к первому завалу, я обернулся и говорю солдатам: «Ребята! не робеть! В оба смотреть! Кто отстанет, своей рукой изрублю».

С русским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната... я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули... взжиль! взжиль! взжиль!.. Я говорю: «Вперед, ребята, за мной!» Только мы подошли, знаете, посмотрим, я вижу тут, как это... знаете... как это называется? – и рассказчик замахал руками, отыскивая слово.

– Обрыв, – подсказал Болхов.

– Нет... Ах, как это? Боже мой! ну, как это?.. обрыв, – сказал он скоро. – Только ружья наперевес... ура! та-ра-та-та-та! Неприятеля ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо: идем мы дальше – второй завал. Это совсем другое дело. У нас уж ретивое закипело, знаете. Только подошли мы, посмотрим, я вижу, второй завал – нельзя итти. Тут... как это, ну, как называется этакая... Ах! как это...

– Опять обрыв, – подсказал я.

– Совсем нет, – продолжал он с сердцем: – не обрыв, а... ну, вот, как это называется, – и он сделал рукой какой-то нелепый жест. – Ах, Боже мой! как это...

Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему.

– Река, может, – сказал Болхов.

– Нет, просто обрыв. Только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь – ад...

В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. А так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Всё врет, – сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана: – его и не было вовсе на завалах», и Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало.

ХIII.

Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях. Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился *рябко*,³¹ Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин с своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых – кто под ящиками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы; в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место. Я сел подле него и закурил папироску. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба.

Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка бряцанье ружей пехоты. Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати квадратных сажень; но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе. На лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище; но ничуть не бывало: Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух

³¹ Солдатское кушанье – моченые сухари с салом.

товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненого в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке; ездового, вылезавшего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы, и фейерверкер двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года, один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке, и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкравшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упоминал ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было Бог знает как давно или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного; они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе.

К костру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку.

– Пехотные в лагерь за водкой посылали, – сказал Максимов после довольно долгого молчания: – сейчас воротились. – Он плюнул в огонь. – Унтер-офицер сказывал, нашего видали.

– Чтò, жив еще? – спросил Антонов, поворачивая котелок.

– Нет, помер.

Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую голову в красной шапочке, с минуту пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью.

– Вишь, смерть-то не даром к нему поутру приходила, как я будил его в парке, – сказал Антонов.

– Пустое! – сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень, – и все замолчали.

Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов:

«Отче наш, Иже еси на небесех! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».

– Так-то у нас в 45 году солдатик один в это место контужен был, – сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня: – так мы его два дня на орудии возили... помнишь Шевченку, Жданов?.. да так и оставили там под деревом.

В это время пехотный солдат, с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой подошел к нашему костру.

– Позвольте, землячки, огоньку, закурить трубочку, – сказал он.

– Чтò ж, закуривайте: огню достаточно, – заметил Чикин.

– Это, верно, про Дарги, земляк, сказываете? – обратился пехотный к Антонову.

– Про 45 год, про Дарги, – ответил Антонов.

Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточки.

– Да уж было там всего, – заметил он.

– Отчего ж бросили? – спросил я Антонова.

– От живота крепко мучался. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, то криком кричит. Богом просил, чтоб оставили, да всё жалко было. Ну, а как он стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились мы как-то. – Беда! совсем не думали орудия увезти. Грязь же была.

– Пуше всего, что под Индейской горой грязно было, – заметил какой-то солдат.

– Да, вот там-то ему пуше хуже стало. Подумали мы с Аношенкой, – старый фирверкин был, – что ж в самом деле, живому ему не быть, а Богом просит – оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Дерево росла там ветлеватая такая. Взяли мы сухариков моченых ему положили, – у Жданова были, – прислонили его к дереву к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует, да так и оставили.

– И важный солдат был?

– Ничего солдат был, – заметил Жданов.

– И что с ним случилось, Бог его знает, – продолжал Антонов. – Много там всякого нашего брата осталось.

– В Даргах-то? – сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку и снова зажмурившись и покачивая головой: – уж было там всего.

И он отошел от нас.

– А что, много еще у нас в батарее солдат, которые в Дарго были? – спросил я.

– Да что? вот Жданов, я, Пацан, что в отпуску теперь, да еще человек шесть есть. Больше не будет.

– А что, Пацан-то наш загулял в отпуску? – сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно. – Почитай, год скоро, что его нет.

– А что, ты ходил в годовой? – спросил я у Жданова.

– Нет, не ходил, – отвечал он неохотно.

– Ведь хорошо итти, – сказал Антонов: – от богатого дома, али когда сам в силах работать, так и итти лестно, и тебе дома рады будут.

– А то что итти, когда от двух братьев! – продолжал Жданов: – самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата кормить. Подмога плохая, как уж 25 лет прослужил. Да и живы ли, кто е знает.

– А разве ты не писал? – спросил я.

– Как не писать! Два письма послал, да всё в ответ не присылают. Али померли, али так не посылают, что, значит, сами в бедности живут: так где тут!

– А давно ты писал?

– Пришедши с Даргов, писал последнее письмо.

– Да ты «березушку» спел бы, – сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотясь на колени, мурлыкал какую-то песню.

Антонов запел «березушку».

– Эта что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова, – сказал мне шопотом Чикин, дернув меня за шинель: – другой раз, как заиграет ее Филипп Антоныч, так он ажно плачет.

Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремленными на тлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным; потом скулы его под ушами стали двигаться всё быстрее и быстрее, и наконец он встал и, разостлав шинель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать, или же смерть

Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет.

Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова, с его седыми усами, красной рожей и орденами на накинута шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря – храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей.

– Вторая смена! Макатюк и Жданов! – крикнул Максимов.

Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям.

15 июня 1855 г.

ИЗ КАВКАЗСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ. РАЗЖАЛОВАННЫЙ.

(1853—1856)

Мы стояли в отряде. – Дела уже кончались, дорубали просеку и с каждым днем ожидали из штаба приказа об отступлении в крепость. Наш дивизион батарейных орудий стоял на скате крутого горного хребта, оканчивающегося быстрой горной речкой Мечиком, и должен был обстреливать расстилавшуюся впереди равнину. На живописной равнине этой, вне выстрела, изредка, особенно перед вечером, там и сям показывались невраждебные группы конных горцев, выезжавших из любопытства посмотреть на русский лагерь. Вечер был ясный, тихий и свежий, как обыкновенно декабрьские вечера на Кавказе, солнце спускалось за крутым отрогом гор налево и бросало розовые лучи на палатки, рассыпанные по горе, на движущиеся группы солдат и на наши два орудия, тяжело, как будто вытянув шеи, неподвижно стоявшие в двух шагах от нас на земляной батарее. Пехотный пикет, расположенный на бугре налево, отчетливо обозначался на прозрачном свете заката, с своими козлами ружей, фигурой часового, группой солдат и дымом разложенного костра. Направо и налево, по полугоре, на черной притоптанной земле белели палатки, а за палатками чернели голые стволы чинарного леса, в котором беспрестанно стучали топорами, трещали костры и с грохотом падали подрубленные деревья. Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо. Мимо палаток и низами около ручья тянулись с топотом и фырканием казаки, драгуны и артиллеристы, возвращавшиеся с водопою. Начинало подмораживать, все звуки были слышны особенно явственно, – и далеко вперед по равнине было видно в чистом, редком воздухе. Неприятельские кучки, уже не возбуждая любопытства солдат, тихо разъезжали по светло-желтому жневью кукурузных полей, кой-где из-за деревьев виднелись высокие столбы кладбищ и дымящиеся аулы.

Наша палатка стояла недалеко от орудий, на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батарее, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чушки. Услужливые солдатики тут же приделали для нас плетеные лавочки и столик. По причине всех этих удобств артиллерийские офицеры, наши товарищи, и несколько пехотных любили по вечерам собираться в нашей батарее и называли это место клубом.

Вечер был славный, лучшие игроки собрались, и мы играли в городки. Я, прапорщик Д. и поручик О. проиграли сряду две партии и к общему удовольствию и смеху зрителей, – офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, – провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого. Особенно забавно было положение огромного, толстого штабс-капитана Ш., который, задыхаясь и добродушно улыбаясь, с волочащимися по земле ногами проехал на маленьком и тщедушном поручике О. Но становилось уже поздно, денщики вынесли нам, на всех шесть человек, три стакана чая без блюдец, и мы, окончив игру, подошли к плетеным лавочкам. Около них стоял незнакомый нам небольшой человечек с кривыми ногами, в нагольном тулупе и в папахе с длиною висящей белой шерстью. Как только мы подошли близко к нему, он нерешительно несколько раз снял и надел шапку и несколько раз как будто собирался подойти к нам и снова останавливался. Но решив, должно быть, что уже больше нельзя оставаться незамеченным, незнакомый человек этот снял шапку и, обходя нас кругом, подошел к штабс-капитану Ш.

– А, Гуськантини! Ну что, батенька? – сказал ему Ш., добродушно улыбаясь еще под влиянием своей поездки.

Гуськантини, как его назвал Ш., тотчас же надел шапку и сделал вид, что он засовывает руки в карманы полушубка, но с той стороны, с которой он стоял ко мне, кармана на полушубке не было, и маленькая красная рука его осталась в неловком положении. Мне хотелось решить, кто такой был этот человек (юнкер или разжалованный?), и я, не замечая того, что мой взгляд (т. е. взгляд незнакомого офицера) смущал его, вглядывался пристально в его одежду и наружность. Ему казалось лет тридцать. Маленькие, серые, круглые глаза его как-то заспанно и вместе с тем беспокойно выглядывали из-за грязного, белого курпья папахи, висевшего ему на лицо. Толстый, неправильный нос среди ввалившихся щек изобличал болезненную, неестественную худобу. Губы, весьма мало закрытые редкими, мягкими, белесоватыми усами, беспрестанно находились в беспокойном состоянии, как будто пытались принять то то, то другое выражение. Но все эти выражения были как-то недоконченны; на лице его оставалось постоянно одно преобладающее выражение испуга и торопливости. Худую, жилистую шею его обвешивал шерстяной зеленый шарф, скрывающийся под полушубком. Полушубок был затертый, короткий, с нашитой собакой на воротнике и на фальшивых карманах. Панталоны были клетчатые, пепельного цвета, и сапоги с короткими нечерненными солдатскими голенищами.

– Пожалуйста, не беспокойтесь, – сказал я ему, когда он снова, робко взглянув на меня, снял было шапку.

Он поклонился мне с благодарным выражением, надел шапку и, достав из кармана грязный ситцевый кисет на шнуручках, стал делать папирску.

Я сам недавно был юнкером, старым юнкером, неспособным уже быть добродушно-услужливым младшим товарищем, и юнкером без состояния, поэтому, хорошо зная всю моральную тяжесть этого положения для немолодого и самолюбивого человека, я сочувствовал всем людям, находящимся в таком положении, и старался объяснить себе их характер и степень и направление умственных способностей, для того чтобы по этому судить о степени их моральных страданий. Этот юнкер или разжалованный, по своему беспокойному взгляду и тому умышленному беспрестанному изменению выражения лица, которое я заметил в нем, казался мне человеком очень неглупым и крайне самолюбивым и поэтому очень жалким.

Штабс-капитан Ш. предложил нам сыграть еще партию в городки, с тем чтобы проигравшая партия, кроме перевозу, заплатила за несколько бутылок красного вина, рому, сахару, корицы и гвоздики для глинтвейна, который в эту зиму, по случаю холода, был в большой моде в нашем отряде. Гуськантини, как его опять назвал Ш., тоже пригласили в партию, но, перед тем как начинать игру, он, видимо борясь между удовольствием, которое ему доставило это приглашение, и каким-то страхом, отвел в сторону штабс-капитана Ш. и стал что-то нашептывать ему. Добродушный штабс-капитан ударил его своей пухлой, большой ладонью по животу и громко отвечал: «Ничего, батенька, я вам поверю».

Когда игра кончилась, и та партия, в которой был незнакомый нижний чин, выиграла, и ему пришлось ехать верхом на одном из наших офицеров, прапорщике Д., – прапорщик покраснел, отошел к диванчикам и предложил нижнему чину папирс в виде выкупа. Пока заказали глинтвейн и в денщицкой палатке слышалось хлопотливое хозяйничанье Никиты, посылавшего вестового за корицей и гвоздикой, и спина его натягивала то там, то сям грязные полы палатки, мы все семь человек уселись около лавочек и, попеременно попивая чай из трех стаканов и посматривая вперед на начинавшую одеваться сумерками равнину, разговаривали и смеялись о разных обстоятельствах игры. Незнакомый человек в полушубке не принимал участия в разговоре, упорно отказывался от чая, который я несколько раз предлагал ему, и, сидя на земле по-татарски, одну за другою делал из мелкого табаку папирски и выкуривал их, как видно было, не столько для своего удовольствия, сколько для того, чтобы дать себе вид чем-нибудь занятого человека. Когда заговорили о том, что на завтра ожидают отступления и, может быть, дела, он приподнялся на колени и, обращаясь к одному штабс-капитану Ш., сказал, что он был теперь дома у адъютанта и сам писал приказ о выступлении на завтра. Мы

все молчали в то время, как он говорил, и, несмотря на то, что он видимо робел, заставили его повторить это крайне для нас интересное известие. Он повторил сказанное, прибавив однако, что он *был и сидел* у адъютанта, с которым *он живет вместе*, в то время как принесли приказание.

– Смотрите, коли вы не лжете, батенька, так мне надо в своей роте итти приказать кой-что к завтраму, – сказал штабс-капитан Ш.

– Нет... отчего же?... как же можно, я наверно... – заговорил нижний чин, но вдруг замолчал и, видимо решившись обидеться, ненатурально нахмурил брови и, шепча что-то себе под нос, снова начал делать папироску. Но высыпаемого мельчайшего табаку уже было недостаточно в его ситцевом кисете, и он попросил Ш. *одолжить* ему *папиросочку*. Мы довольно долго продолжали между собою ту однообразную военную болтовню, которую знает каждый, кто бывал в походах, жаловались всё одними и теми же выражениями на скуку и продолжительность похода, одним и тем же манером рассуждали о начальстве, всё так же, как много раз прежде, хвалили одного товарища, жалели другого, удивлялись, как много выиграл тот, как много проиграл этот, и т. д., и т. д.

– Вот, батенька, адъютант-то наш прорвался так прорвался, – сказал штабс-капитан Ш., – в штабе вечно в выигрыше был, с кем ни сядет, бывало, загребет, а теперь уж второй месяц всё проигрывает. Не задался ему нынешний отряд. Я думаю, монетов 1000 спустил, да и вещей монетов на 500: ковер, что у Мухина выиграл, пистолеты Никитинские, часы золотые, от Сады, что ему Воронцов подарил, всё ухнуло.

– Поделом ему, – сказал поручик О., – а то уж он очень всех обдувал: – с ним играть нельзя было.

– Всех обдувал, а теперь весь в трубу вылетел, – и штабс-капитан Ш. добродушно рассмеялся. – Вот Гуськов у него живет – он и его чуть не проиграл, право. Так, батенька? – обратился он к Гуськову.

Гуськов засмеялся. У него был жалкий болезненный смех, совершенно изменявший выражение его лица. При этом изменении мне показалось, что я прежде знал и видал этого человека, притом и настоящая фамилия его, Гуськов, была мне знакома, но как и когда я его знал и видел, – я решительно не мог припомнить.

– Да, – сказал Гуськов, беспрестанно поднимая руки к усам и, не дотронувшись до них, опуская их снова. – Павлу Дмитриевичу очень в этот отряд не повезло, такая *veine de malheur*,³² – добавил он старательным, но чистым французским выговором, причем мне снова показалось, что я уже видал, и даже часто видал, его где-то. – Я хорошо знаю Павла Дмитриевича, он мне всё доверяет, – продолжал он, – мы с ним еще старые знакомые, т. е. он меня любит, – прибавил он, видимо испугавшись слишком смелого утверждения, что он старый знакомый адъютанта. – Павел Дмитриевич отлично играет, но теперь удивительно, что с ним сделалось, он совсем как потерянный, – *la chance a tourné*,³³ – добавил он, обращаясь преимущественно ко мне.

Мы сначала с снисходительным вниманием слушали Гуськова, но как только он сказал еще эту французскую фразу, мы все невольно отвернулись от него.

– Я с ним тысячу раз играл, и ведь согласитесь, что это странно, – сказал поручик О. с особенным ударением на этом слове, – удивительно *странно*: я ни разу у него не выиграл ни абаза. Отчего же я у других выигрываю?

– Павел Дмитриевич отлично играет, я его давно знаю, – сказал я. Действительно, я знал адъютанта уже несколько лет, не раз видал его в игре, большой по средствам офицеров, и восхищался его красивой, немного мрачной и всегда невозмутимо спокойной физиономией, его медлительным малороссийским выговором, его красивыми вещами и лошадьми, его нетороп-

³² [полоса неудачи,]

³³ [счастье отвернулось,]

ливой хохлацкой молодцеватостью и особенно его умением сдержанно, отчетливо и приятно вести игру. Не раз, каюсь в том, глядя на его полные и белые руки с бриллиантовым перстнем на указательном пальце, которые мне били одну карту за другую, я злился на этот перстень, на белые руки, на всю особу адъютанта, и мне приходили на его счет дурные мысли; но обсуживая потом хладнокровно, я убеждался, что он просто игрок умнее всех тех, с которыми ему приходится играть. Тем более, что, слушая его общие рассуждения об игре, о том, как следует не отгибаться, поднявшись с маленького куша, как следует бастовать в известных случаях, как первое правило играть на *чистые* и т. д., и т. д., было ясно, что он всегда в выигрыше только оттого, что умнее и характернее всех нас. Теперь же оказалось, что этот воздержный, характерный игрок проигрался впух в отряде не только деньгами, но и вещами, что означает последнюю степень проигрыша для офицера.

– Ему чертовски всегда везет со мной, – продолжал поручик О. – Я уж дал себе слово больше не играть с ним.

– Экой вы чудак, батенька, – сказал Ш., подмигивая на меня всей головой и обращаясь к О., – проиграли ему монетов 300, ведь проиграли!

– Больше, – сердито сказал поручик.

– А теперь хватились за ум, да поздно, батенька: всем давно известно, что он наш полковой шулер, – сказал Ш., едва удерживаясь от смеха и очень довольный своей выдумкой. – Вот Гуськов налицо, он ему и карты подготавливает. От этого-то у них и дружба, батенька мой... – и штабс-капитан Ш. так добродушно, колебаясь всем телом, расхохотался, что расплескал стакан глнтвейна, который держал в руке в это время.

На желтом исхудалом лице Гуськова показалась как будто краска, он несколько раз открывал рот, поднимал руки к усам и снова опускал их к месту, где должны были быть карманы, приподнимался и опускался и, наконец, не своим голосом сказал Ш.: – Это не шутка, Николай Иванович; вы говорите такие вещи и при людях, которые меня не знают и видят в нагольном полушубке... потому что... – Голос у него оборвался, и снова маленькие красные ручки с грязными ногтями заходили от полушубка к лицу, то поправляя усы, волосы, нос, то прочищая глаз или почесывая без всякой надобности щеку.

– Да что и говорить, всем известно, батенька, – продолжал Ш., искренно довольный своей шуткой и вовсе не замечая волнения Гуськова. Гуськов еще прошептал что-то и, уперев локоть правой руки на коленку левой ноги, в самом неестественном положении, глядя на Ш., стал делать вид, как будто он презрительно улыбается.

«Нет, – решительно подумал я, глядя на эту улыбку, – я не только видел его, но говорил с ним где-то».

– Мы с вами где-то встречались, – сказал я ему, когда под влиянием общего молчания начал утихать смех Ш. Переменчивое лицо Гуськова вдруг просветлело, и его глаза в первый раз с искренно-веселым выражением устремились на меня.

– Как же, я вас сейчас узнал, – заговорил он по-французски. – В 48 году я вас довольно часто имел удовольствие видеть в Москве, у моей сестры Ивашиной.

Я извинился, что не узнал его сразу в этом костюме и в этой новой одежде. Он встал, подошел ко мне и своей влажной рукой нерешительно, слабо пожал мою руку и сел подле меня. Вместо того, чтобы смотреть на меня, которого он будто бы был так рад видеть, он с выражением какого-то неприятного хвастовства оглянулся на офицеров. Оттого ли, что я узнал в нем человека, которого несколько лет тому назад видал во фраке в гостиной, или оттого, что при этом воспоминании он вдруг поднялся в своем собственном мнении, мне показалось, что его лицо и даже движения совершенно изменились: они выражали теперь бойкий ум, детское самодовольство от сознания этого ума и какую-то презрительную небрежность, так что, признаюсь, несмотря на жалкое положение, в котором он находился, мой старый знакомый уже внушал мне не сострадание, а какое-то несколько неприязненное чувство.

Я живо вспомнил нашу первую встречу. В 48 году я часто в бытность мою в Москве ездил к Ивашину, с которым мы росли вместе и были старые приятели. Его жена была приятная хозяйка дома, любезная женщина, что называется, но она мне никогда не нравилась... В ту зиму, когда я ее знал, она часто говорила с худо-скрываемой гордостью про своего брата, который недавно кончил курс и будто бы был одним из самых образованных и любимых молодых людей в лучшем петербургском свете. Зная по слухам отца Гуськовых, который был очень богат и занимал значительное место, и зная направление сестры, я встретился с молодым Гуськовым с предубеждением. Раз, вечером приехав к Ивашину, я застал у него невысокого, весьма приятного на вид молодого человека в черном фраке, в белом жилете и галстухе, с которым хозяин забыл познакомиться меня. Молодой человек, повидимому собиравшийся ехать на бал, с шляпой в руке стоял перед Ивашиным и горячо, но учтиво спорил с ним про общего нашего знакомого, отличившегося в то время в венгерской кампании. Он говорил, что этот знакомый был вовсе не герой и человек, рожденный для войны, как его называли, а только умный и образованный человек. Помню, я принял участие в споре против Гуськова и увлекся в крайность, доказывая даже, что ум и образование всегда в обратном отношении к храбрости, и помню, как Гуськов приятно и умно доказывал мне, что храбрость есть необходимое следствие ума и известной степени развития, с чем я, ситая себя умным и образованным человеком, не мог втайне не согласиться! Помню, что в конце нашего разговора Ивашина познакомила меня с своим братом, и он, снисходительно улыбаясь, подал мне свою маленькую руку, на которую еще не совсем успел натянуть лайковую перчатку, и так же слабо и нерешительно, как и теперь, пожал мою руку. Хотя я и был предубежден против него, я не мог тогда не отдать справед-

ливости Гуськову и не согласиться с его сестрою, что он был действительно умный и приятный молодой человек, который должен был иметь успех в свете. Он был необыкновенно опрятен, изящно одет, свеж, имел самоуверенно-скромные приемы и вид чрезвычайно моложавый, почти детский, за который вы невольно извиняли ему выражение самодовольства и желание умерить степень своего превосходства перед вами, которое постоянно носили на себе его умное лицо и в особенности улыбка. Говорили, что он в эту зиму имел большой успех у московских барынь. Видав его у сестры, я только по выражению счастья и довольства, которое постоянно носила на себе его молодая наружность, и по его иногда нескромным рассказам мог заключить, в какой степени это было справедливо. Мы встречались с ним раз шесть и говорили довольно много, или, скорее, много говорил он, а я слушал. Он говорил большею частию по-французски, весьма хорошим языком, очень складно, фигурно и умел мягко, учтиво перебивать других в разговоре. Вообще он обращался со всеми и со мною довольно свысока, а я, как это всегда со мной бывает в отношении людей, которые твердо уверены, что со мной следует обращаться свысока, и которых я мало знаю, – чувствовал, что он совершенно прав в этом отношении.

Теперь, когда он подсел ко мне и сам подал мне руку, я живо узнал в нем прежнее высокомерное выражение, и мне показалось, что он не совсем честно пользуется выгодой своего положения нижнего чина перед офицером, так небрежно расспрашивая меня о том, что я делал всё это время и как попал сюда. Несмотря на то, что я всякий раз отвечал по-русски, он заговаривал на французском языке, на котором уже заметно выражался не так свободно, как прежде. Про себя он мне мельком сказал, что после своей несчастной, глупой истории (в чем состояла эта история, я не знал, и он не сказал мне) он три месяца сидел под арестом, потом был послан на Кавказ в N. полк, – теперь уже три года служит солдатом в этом полку.

– Вы не поверите, – сказал он мне по-французски, – сколько я должен был выстрадать в этих полках от общества офицеров; еще счастье мое, что я прежде знал адъютанта, про которого мы сейчас говорили: он хороший человек, право, – заметил он снисходительно, – я у него живу, и для меня это всё-таки маленькое облегчение. *Oui, mon cher, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas,*³⁴ – добавил он и вдруг замялся, покраснел и встал с места, заметив, что к нам подходил тот самый адъютант, про которого мы говорили.

– Такая отрада встретить такого человека, как вы, – сказал мне шопотом Гуськов, отходя от меня, – мне бы много, много хотелось переговорить с вами.

Я сказал, что я очень рад этому, но в сущности, признаюсь, Гуськов внушал мне несимпатическое, тяжелое сострадание.

Я предчувствовал, что с глазу на глаз мне будет неловко с ним, но мне хотелось узнать от него многое и в особенности, почему, когда отец его был так богат, он был в бедности, как это было заметно по его одежде и приемам.

Адъютант поздоровался со всеми нами, исключая Гуськова, и подсел со мной рядом на место, которое занимал разжалованный. Всегда спокойный и медлительный, характерный игрок и денежный человек, Павел Дмитриевич был теперь совершенно другим, как я его знал в цветущие времена его игры; он как будто торопился куда-то, беспрестанно оглядывал всех, и не прошло пяти минут, как он, всегда отказывавшийся от игры, предложил поручику О. составить банчик. Поручик О. отказался под предлогом занятий по службе, собственно же потому, что, зная, как мало вещей и денег оставалось у Павла Дмитриевича, он считал неблагоприятным рисковать свои 300 рублей против 100 рублей, а может и меньше, которые он мог выиграть.

– А что, Павел Дмитриевич, – сказал поручик, видимо желая избавиться от повторения просьбы, – правда говорят – завтра выступление?

– Не знаю, – заметил Павел Дмитриевич, – только велено приготовиться, а право, лучше бы сыграли, я бы вам заложил моего кабардинца.

³⁴ [Да, дорогой мой, дни идут один за другим, но не повторяются.]

– Нет, уж нынче...

– Серого, уж куда ни шло, а то, ежели хотите, деньгами. Что ж?

– Да я что ж... Я бы готов, вы не думайте, – заговорил поручик О., отвечая на свое собственное сомнение, – а то завтра, может, набег или движение, выспаться надо.

Адъютант встал и, заложив руки в карманы, стал ходить по площадке. Лицо его приняло обычное выражение холодности и некоторой гордости, которые я любил в нем.

– Не хотите ли стаканчик глинтвейну? – сказал я ему.

– Можно-с, – и он направился ко мне, но Гуськов торопливо взял стакан у меня из рук и понес его адъютанту, стараясь притом не глядеть на него. Но, не обратив вниманья на веревку, натягивающую палатку, Гуськов спотыкнулся на нее и, выпустив из рук стакан, упал на руки.

– Эка филя! – сказал адъютант, протянувший уже руку к стакану. Все расхохотались, не исключая Гуськова, потиравшего рукой свою худую коленку, которую он никак не мог зашить при падении.

– Вот как медведь пустынночку услужил, – продолжал адъютант. – Так-то он мне каждый день услуживает, все колышки на палатках пооборвал, – всё спотыкается.

Гуськов, не слушая его, извинялся перед нами и взглядывал на меня с чуть заметной грустной улыбкой, которою он как будто говорил, что я один могу понимать его. Он был жалок, но адъютант, его покровитель, казался почему-то озлобленным на своего сожителя и никак не хотел оставить его в покое.

– Как же, ловкий мальчик! куда ни поверните.

– Да кто ж не спотыкается на эти колышки, Павел Дмитриевич, – сказал Гуськов, – вы сами третьего дня спотыкнулись.

– Я, батюшка, не нижний чин, с меня ловкости не спрашивается.

– Он может ноги волочить, – подхватил штабс-капитан Ш., – а нижний чин должен подпрыгивать...

– Странные шутки, – сказал Гуськов почти шопотом и опустив глаза. Адъютант был, видимо, равнодушен к своему сожителю, он с алчностью вслушивался в его каждое слово.

– Придется опять в секрет послать, – сказал он, обращаясь к Ш. и подмигивая на разжалованного.

– Что ж, опять слезы будут, – сказал Ш., смеясь. Гуськов не глядел уже на меня, а делал вид, что достает табак из кисета, в котором давно уже ничего не было.

– Собирайтесь в секрет, батенька, – сквозь смех проговорил Ш., – нынче лазутчики донесли, нападение на лагерь ночью будет, так надо надежных ребят назначать. – Гуськов нерешительно улыбался, как будто собираясь сказать что-то, и несколько раз поднимал умоляющий взгляд на Ш.

– Что ж, ведь я ходил, и пойду еще, коли пошлют, – пролепетал он.

– Да и пошлют.

– Ну, и пойду. Что ж такое?

– Да, как на Аргуне, убежали из секрета и ружье бросили, – сказал адъютант и, отвернувшись от него, начал нам рассказывать приказания на завтрашний день.

Действительно, в ночь ожидали со стороны неприятеля стрельбу по лагерю, а на завтра какое-то движение. Потолковав еще о разных общих предметах, адъютант как будто нечаянно, вдруг вспомнив, предложил поручику О. прометать ему маленькую. Поручик О. совершенно неожиданно согласился, и они вместе с Ш. и прапорщиком пошли в палатку адъютанта, у которого был складной зеленый стол и карты. Капитан, командир нашего дивизиона, пошел спать в палатку, другие господа разошлись тоже, и мы остались одни с Гуськовым. Я не ошибался, мне действительно было с ним неловко с глазу на глаз. Я невольно встал и стал ходить взад и вперед по батарее. Гуськов молча пошел со мной рядом, торопливо и беспокойно поворачиваясь, чтобы не отставать и не опережать меня.

– Я вам не мешаю? – сказал он кротким, печальным голосом. Сколько я мог рассмотреть в темноте его лицо, оно мне показалось глубоко задумчивым и грустным.

– Нисколько, – отвечал я; но так как он не начинал говорить, и я не знал, что сказать ему, мы довольно долго ходили молча.

Сумерки уже совершенно заменились темнотою ночи, над черным профилем гор зажглась яркая вечерняя зарница, над головами на светло-синем морозном небе мерцали мелкие звезды, со всех сторон краснело во мраке пламя дымящихся костров, вблизи серели палатки, и мрачно чернела насыпь нашей батареи. От ближайшего костра, около которого, греясь, тихо разговаривали наши денщики, изредка блестела на батарее медь наших тяжелых оружий, и показывалась фигура часового в шинели в накидку, мерно двигавшегося вдоль насыпи.

– Вы не можете себе представить, какая отрада для меня говорить с таким человеком, как вы, – сказал мне Гуськов, хотя он еще ни о чем не говорил со мной, – это может понять только тот, кто побывал в моем положении.

Я не знал, что отвечать ему, и мы снова молчали, несмотря на то, что ему, видимо, хотелось высказаться, а мне выслушать его.

– За что вы были... за что вы пострадали? – спросил я его наконец, не придумав ничего лучше, чтоб начать разговор.

– Разве вы не слышали про эту несчастную историю с Метениным?

– Да, дуэль, кажется; слышал мельком, – отвечал я: – ведь я уже давно на Кавказе.

– Нет, не дуэль, но эта глупая и ужасная история! Я вам всё расскажу, коли вы не знаете. Это было в тот самый год, когда мы с вами встречались у сестры, я жил тогда в Петербурге. Надо вам сказать, я имел тогда то, что называется *une position dans le monde*,³⁵ и довольно выгодную, ежели не блестящую. *Mon père me donnait 10 000 par an.*³⁶ В 49 году мне обещали место при посольстве в Турине, дядя мой по матери мог и всегда был готов очень много для меня сделать. Дело прошлое теперь, *j'étais reçu dans la meilleure société de Pétersbourg, je pouvais prétendre*³⁷ на лучшую партию. Учился я, как все мы учились в школе, так что особенного образования у меня не было; правда, я читал много после, *mais j'avais surtout*, знаете, *ce jargon du monde*,³⁸ и, как бы то ни было, меня находили почему-то одним из первых молодых людей Петербурга. Что меня еще больше возвысило в общем мнении – *c'est cette liaison avec m-me D.*,³⁹ про которую много говорили в Петербурге, но я был ужасно молод в то время и мало ценил все эти выгоды. Просто я был молод и глуп, чего мне еще нужно было? В то время в Петербурге этот Метенин имел репутацию... – И Гуськов продолжал в этом роде рассказывать мне историю своего несчастья, которую, как вовсе неинтересную, я пропущу здесь. – Два месяца я сидел под арестом, – продолжал он, – совершенно один, и чего ни передумал я в это время. Но знаете, когда всё это кончилось, как будто уж окончательно была разорвана связь с прошедшим, мне стало легче. *Mon père, vous en avez entendu parler*⁴⁰ наверно, он человек с характером железным и с твердыми убеждениями, *il m'a déshérité*⁴¹ и прекратил все сношения со мной. По его убеждениям так надо было сделать, и я нисколько не обвиняю его: *il a été consequent.*⁴² Зато и я не сделал шагу для того, чтобы он изменил своему намерению. Сестра была за границей, *m-me D.* одна писала ко мне, когда позволили, и предлагала помощь, но вы понимаете, что я отказался. Так что у меня не было тех мелочей, которые облегчают немного в этом положении,

³⁵ [положение в свете.]

³⁶ [Отец давал мне 10 000 ежегодно.]

³⁷ [я был принят в лучшем обществе Петербурга, я мог рассчитывать];

³⁸ (но особенно я владел этим светским жаргоном.)

³⁹ [так это связь с г-жей Д.]

⁴⁰ [Мой отец, вы слышали о нем]

⁴¹ [он лишил меня права на наследство]

⁴² [он был последователен.]

знаете: ни книг, ни белья, ни пищи, ничего. Я много, много передумал в это время, на всё стал смотреть другими глазами; например, этот шум, толки света обо мне в Петербурге не занимали меня, не льстили нисколько, всё это мне казалось смешно. Я чувствовал, что сам был виноват, неосторожен, молод, я испортил свою карьеру и только думал о том, как снова поправить ее. И я чувствовал в себе на это силы и энергию. Из-под ареста, как я вам говорил, меня отослали сюда, на Кавказ, в N. полк.

– Я думал, – продолжал он, воодушевляясь более и более, – что здесь, на Кавказе – *la vie de camp*,⁴³ люди простые, честные, с которыми я буду в сношениях, война, опасности, всё это придется к моему настроению духа как нельзя лучше, что я начну новую жизнь. *On me verra au feu*⁴⁴ – полюбят меня, будут уважать меня не за одно имя, – крест, унтер-офицер, снимут штраф, и я опять вернусь *et, vous savez, avec ce prestige du malheur!* Но *quel désenchantement*.⁴⁵ Вы не можете себе представить, как я ошибся!.. Вы знаете общество офицеров нашего полка? – Он помолчал довольно долго, ожидая, как мне показалось, что я скажу ему, что знаю, как нехорошо общество здешних офицеров; но я ничего не отвечал ему. Мне было противно, что он, потому верно, что я знал по-французски, предполагал, что я должен был быть возмущен против общества офицеров, которое я, напротив, пробыв долго на Кавказе, успел оценить вполне и уважал в тысячу раз больше, чем то общество, из которого вышел господин Гуськов. Я хотел ему сказать это, но его положение связывало меня.

– В N. полку общество офицеров в тысячу раз хуже здешнего, – продолжал он. – *J'espère que c'est beaucoup dire*,⁴⁶ т. е. вы не можете себе представить, что это такое! Уже не говорю о юнкерах и солдатах. Это ужас что такое! Меня приняли сначала хорошо, это совершенная правда, но потом, когда увидели, что я не могу не презирать их, знаете, в этих незаметных мелких отношениях, увидели, что я человек совершенно другой, стоящий гораздо выше их, они озлобились на меня и стали отплачивать мне разными мелкими унижениями. *Se que j'ai eu à souffrir, vous ne vous faites pas une idée*.⁴⁷ Потом эти невольные отношения с юнкерами, а главное *avec les petits moyens que j'avais, je manquais de tout*,⁴⁸ у меня было только то, что сестра мне присылала. Вот вам доказательство, сколько я выстрадал, что я с моим характером, *avec ma fierté, j'ai écrit à mon père*,⁴⁹ умолял его прислать мне хоть что-нибудь. Я понимаю, что прожить пять лет такой жизнью – можно сделаться таким же, как наш разжалованный Дромов, который пьет с солдатами и ко всем офицерам пишет записочки, прося *ссудить* его тремя рублями, и подписывает *tout à vous*⁵⁰ Дромов. Надобно было иметь такой характер, который я имел, чтобы совершенно не погрязнуть в этом ужасном положении. – Он долго молча ходил подле меня. – *Avez-vous un papiros?*⁵¹ – сказал он мне. – Да, так на чем я остановился? Да. Я не мог этого выдержать, не физически, потому что хотя и плохо, холодно и голодно было, я жил как солдат, но всё-таки и офицеры имели какое-то уважение ко мне. Какой-то *prestige*⁵² оставался на мне и для них. Они не посылали меня в караулы, на ученье. Я бы этого не вынес. Но морально страдал я ужасно. И главное, не видел выхода из этого положения. Я писал дяде, умолял его перевести меня в здешний полк, который по крайней мере бывает в делах, и думал,

⁴³ [лагерная жизнь,]

⁴⁴ [меня увидят под огнем]

⁴⁵ [и, знаете, с этим обаянием несчастья! Но, какое разочарование.]

⁴⁶ [Надеюсь, что этим достаточно сказано,]

⁴⁷ [Вы не можете себе представить, сколько я перестрадал.]

⁴⁸ [при тех маленьких средствах, которые у меня были, я нуждался во всем.]

⁴⁹ [с моей гордостью, я написал отцу,]

⁵⁰ [весь ваш]

⁵¹ [Есть у вас папироса?]

⁵² [авторитет]

что здесь Павел Дмитриевич, *qui est le fils de l'intendant de mon père*,⁵³ всё-таки он мог быть мне полезен. Дядя сделал это для меня, меня перевели. После того полка этот оказался для меня собранием камергеров. Потом Павел Дмитриевич тут, он знал, кто я такой, и меня приняли прекрасно. По просьбе дяди... Гуськов, *vous savez...*⁵⁴ но я заметил, что с этими людьми, без образования и развития, – они не могут уважать человека и оказывать ему признаки уважения, ежели на нем нет этого ореола богатства, знатности; я замечал, как понемногу, когда увидали, что я беден, их отношения со мной становились небрежнее, небрежнее и, наконец, сделались почти презрительные. Это ужасно! но это совершенная правда.

– Здесь я был в делах, дрался, *on m'a vu au feu*,⁵⁵ – продолжал он, – но когда это кончится? Я думаю, никогда! а силы мои и энергия уже начинают истощаться. Потом я воображал *la guerre, la vie de camp*,⁵⁶ но всё это не так, как я вижу – в полушубке, немытые, в солдатских сапогах вы идете в секрет и целую ночь лежите в овраге с каким-нибудь Антоновым, за пьянство отданным в солдаты, и всякую минуту вас из-за куста могут застрелить, вас или Антонова, всё равно. Тут уж не храбрость – это ужасно. *C'est affreux, ça tue*.⁵⁷

– Что ж, вы можете теперь за поход получить унтер-офицера, а на будущий год и прапорщика, – сказал я.

– Да, могу, мне обещали, но еще два года, и то едва ли. А что такое эти два года, ежели бы знал кто-нибудь. Вы представьте себе эту жизнь с этим Павлом Дмитриевичем: карты, грубые шутки, кутеж, вы хотите сказать что-нибудь, что у вас накопело на душе, вас не понимают или над вами еще смеются, с вами говорят не для того, чтобы сообщить вам мысль, а так, чтоб, ежели можно, еще из вас сделать шута. Да и всё это так пошло, грубо, гадко, и всегда вы чувствуете, что вы нижний чин, это вам всегда дают чувствовать. От этого вы не поймете, какое наслаждение поговорить *à coeur ouvert*⁵⁸ с таким человеком, как вы.

Я никак не понимал, какой это я был человек, и поэтому не знал, что отвечать ему...

– Закусывать будете? – сказал мне в это время Никита, незаметно подобранный ко мне в темноте и, как я заметил, недовольный присутствием гостя. – Только вареники да битой говядины немного осталось.

– А капитан уж закусывал?

– Они спят давно, – угрюмо отвечал Никита. На мое приказание принести нам сюда закусь и водочки он недовольно проворчал что-то и потащился к своей палатке. Поворчав еще там, он однако принес нам погребец; на погребце поставил свечку, обвязав ее наперед бумагой от ветру, кастрюльку, горчицу в банке, жестяную рюмку с ручкой и бутылку с полынной настойкой. Устроив всё это, Никита постоял еще несколько времени около нас и посмотрел, как я и Гуськов выпили водки, что ему, видимо, было очень неприятно. При матовом освещении свечи сквозь бумагу и среди окружающей темноты виднелись только тюленевая кожа погребца, ужин, стоявший на ней, лицо, полушубок Гуськова и его маленькие красные ручки, которыми он принялся выкладывать вареники из кастрюльки. Кругом всё было черно и, только взглядевшись, можно было различить черную батарею, такую же черную фигуру часового, видневшуюся через бруствер, по сторонам огни костров и наверху красноватые звезды. Гуськов печально и стыдливо чуть заметно улыбался, как будто ему неловко было глядеть мне в глаза после своего признания. Он выпил еще рюмку водки и ел жадно, выскребая кастрюльку.

⁵³ [сын управляющего моего отца,]

⁵⁴ [вы знаете...]

⁵⁵ [меня видели под огнем,]

⁵⁶ [войну, лагерную жизнь,]

⁵⁷ [Это ужасно, это убийственно.]

⁵⁸ [по душе]

– Да, для вас всё-таки облегчение, – сказал я ему, чтобы сказать что-нибудь, – ваше знакомство с адъютантом: он, я слышал, очень хороший человек.

– Да, – отвечал разжалованный, – он добрый человек, но он не может быть другим, не может быть человеком, с его образованием и нельзя требовать. – Он вдруг как будто покраснел. – Вы заметили его грубые шутки нынче о секрете, – и Гуськов, несмотря на то, что я несколько раз старался замять разговор, стал оправдываться передо мной и доказывать, что он не убежал из секрета и что он не трус, как это хотели дать заметить адъютант и Ш.

– Как я говорил вам, – продолжал он, обтирая руки о полушубок, – такие люди не могут быть деликатны с человеком – солдатом и у которого мало денег; это выше их сил. И вот последнее время, как я пять месяцев уж почему-то ничего не получаю от сестры, я заметил, как они переменялись ко мне. Этот полушубок, который я купил у солдата и который не греет, потому что весь вытерт (при этом он показал мне голую полу), не внушает ему сострадания или уважения к несчастью, а презрение, которое он не в состоянии скрывать. Какая бы ни была моя нужда, как теперь, что мне есть нечего, кроме солдатской каши, и носить нечего, – продолжал он потупившись, наливая себе еще рюмку водки, – он не догадается предложить мне денег взаймы, зная наверно, что я отдам ему, а ждет, чтобы я в моем положении обратился к нему. А вы понимаете, каково это мне и с ним. Вам бы, например, я прямо сказал – *vous êtes au-dessus de cela; mon cher, je n'ai pas le sou.*⁵⁹ И знаете, – сказал он, вдруг отчаянно взглядывая мне в глаза, – вам я прямо говорю, я теперь в ужасном положении: *rouvez vous me prêter*

*10 roubles argent?*⁶⁰ Сестра должна мне прислать по следующей почте *et mon père...*⁶¹

– Ах, я очень рад, – сказал я, тогда как, напротив, мне было больно и досадно, особенно потому, что, накануне проигравшись в карты, у меня у самого оставалось только рублей пять с чем-то у Никиты. – Сейчас, – сказал я, вставая, – я пойду возьму в палатке.

– Нет, после, *ne vous dérangez pas.*⁶²

Однако, не слушая его, я пролез в застегнутую палатку, где стояла моя постель и спал капитан. – Алексей Иваныч, дайте мне пожалуйста 10 р. до рационов, – сказал я капитану, расталкивая его.

– Что, опять продулись? а еще вчера хотели не играть больше, – спросонков проговорил капитан.

– Нет, я не играл, а нужно, дайте пожалуйста.

– Макатюк! – закричал капитан своему денщику, – достань шкатулку с деньгами и подай сюда.

– Тише, тише, – заговорил я, слушая за палаткой мерные шаги Гуськова.

– Что? отчего тише?

– Это этот разжалованный просил у меня взаймы. Он тут!

– Вот знал бы, так не дал, – заметил капитан, – я про него слышал – первый пакостник мальчишка! – Однако капитан дал таки мне деньги, велел спрятать шкатулку, хорошенько запахнуть палатку и, снова повторив: – вот коли бы знал на что, так не дал бы, – завернулся с головой под одеяло. – Теперь за вами тридцать два, помните, – прокричал он мне.

Когда я вышел из палатки, Гуськов ходил около диванчиков, и маленькая фигура его с кривыми ногами и в уродливой папахе с длинными белыми волосами выказывалась и скрывалась во мраке, когда он проходил мимо свечки. Он сделал вид, как будто не замечает меня. Я передал ему деньги. Он сказал: *тегсі и*, скомкав, положил бумажку в карман панталон.

– Теперь у Павла Дмитриевича, я думаю, игра во всем разгаре, – вслед за этим начал он.

⁵⁹ [вы выше этого; дорогой мой, у меня нет ни гроша.]

⁶⁰ [можете вы одолжить мне 10 рублей серебром?]

⁶¹ [и мой отец...]

⁶² [не беспокойтесь.]

– Да, я думаю.

– Он странно играет, всегда аребур и не отгибается; когда везет, это хорошо, но зато, когда уже не пойдет, можно ужасно проиграться. Он и доказал это. В этот отряд, ежели считать с вещами, он больше полуторы тысячи проиграл. А как играл воздержно прежде, так что этот ваш офицер как будто сомневался в его честности.

– Да это он так... Никита, не осталось ли у нас чихиря? – сказал я, очень облегченный разговорчивостью Гуськова. Никита поворчал еще, но принес нам чихиря и снова с злобой посмотрел, как Гуськов выпил свой стакан. В обращении Гуськова заметна стала прежняя развязность. Мне хотелось, чтобы он ушел поскорее, и казалось, что он этого не делает только потому, что ему совестно было уйти тотчас после того, как он получил деньги. Я молчал.

– Как это вы с средствами, без всякой надобности, решились de gaieté de coeur⁶³ итти служить на Кавказ? вот чего я не понимаю, – сказал он мне.

Я постарался оправдаться в таком странном для него поступке.

– Я воображаю, и для вас как тяжело общество этих офицеров, людей без понятия об образовании. Вы не можете с ними понимать друг друга. Ведь кроме карт, вина и разговоров о наградах и походах, вы десять лет проживете, ничего не увидите и не услышите.

Мне было неприятно, что он хотел, чтобы я непременно разделял его положение, и я совершенно искренно уверял его, что я очень любил и карты, и вино, и разговоры о походах, и что лучше тех товарищей, которые у меня были, я не желал иметь. Но он не хотел верить мне.

– Ну, вы это так говорите, – продолжал он, – а отсутствие женщин, т. е. я разумею femmes comme il faut,⁶⁴ разве это не ужасное лишение? Я не знаю, что бы я дал теперь, чтоб только на минутку перенестись в гостиную и хоть сквозь щелочку посмотреть на милую женщину.

Он помолчал немного и выпил еще стакан чихиря.

– Ах, Боже мой, Боже мой! Может, случится еще нам когда-нибудь встретиться в Петербурге, у людей, быть и жить с людьми, с женщинами. – Он вылил последнее вино, остававшееся в бутылке, и, выпив его, сказал: – Ах, pardon, может быть, вы хотели еще, я ужасно рассеян. Однако я, кажется, слишком много выпил et je n'ai pas la tête forte.⁶⁵ Было время, когда я жил на Морской au rez de chaussée,⁶⁶ у меня была чудная квартирка, мебель, знаете, я умел это устроить изящно, хотя не слишком дорого, правда: mon père дал мне фарфоры, цветы, серебра чудесного. Le matin je sortais, визиты, à 5 heures régulièrement⁶⁷ я ехал обедать к ней, часто она была одна. Il faut avouer que c'était une femme ravissante!⁶⁸ Вы ее не знали? нисколько?

– Нет.

– Знаете, эта женственность была у нее в высшей степени, нежность и потом что за любовь! Господи! я не умел ценить тогда этого счастья. Или после театра мы возвращались вдвоем и ужинали. Никогда с ней скучно не было, toujours gaie, toujours aimante.⁶⁹ Да, я и не предчувствовал, какое это было редкое счастье. Et j'ai beaucoup à me reprocher перед нею. Je l'ai fait souffrir et souvent.⁷⁰ Я был жесток. Ах, какое чудное было время! Вам скучно?

– Нет, нисколько.

– Так я вам расскажу наши вечера. Бывало, я вхожу —эта лестница, каждый горшок цветов я знал – ручка двери, всё это так мило, знакомо, потом передняя, ее комната... Нет, уже это никогда, никогда не возвратится! Она и теперь пишет мне, я вам, пожалуй, покажу ее

⁶³ [с легким сердцем]

⁶⁴ [порядочных женщин,]

⁶⁵ [и у меня слабая голова.]

⁶⁶ [в нижнем этаже,]

⁶⁷ [Утром я выезжал, ровно в 5 часов]

⁶⁸ [Надо признаться, что это была очаровательная женщина!]

⁶⁹ [всегда веселая, всегда любящая.]

⁷⁰ [Я за многое упрекаю себя перед нею. Я ее часто заставлял страдать.]

письма. Но я уж не тот, я погиб, я уже не стою ее... Да, я окончательно погиб! Je suis cassé.⁷¹ Нет во мне ни энергии, ни гордости, ничего. Даже благородства нет... Да, я погиб! И никто никогда не поймет моих страданий. Всем всё равно. Я пропащий человек! никогда уж мне не подняться, потому что я морально упал... в грязь... упал... —

В эту минуту в его словах слышно было искреннее, глубокое отчаяние: он не смотрел на меня и сидел неподвижно.

– Зачем так отчаиваться? – сказал я.

– Оттого, что я мерзок, эта жизнь уничтожила меня, всё, что во мне было, всё убито. Я терплю уж не с гордостью, а с подлостью, *dignité dans le malheur*⁷² уже нет. Меня унижают ежеминутно, я всё терплю, сам лезу на униженья. Эта грязь а *déteint sur moi*,⁷³ я сам стал груб, я забыл, что знал, я по-французски уж не могу говорить, я чувствую, что я подл и низок. Драться я не могу в этой обстановке, решительно не могу, я бы, может быть, был герой: дайте мне полк, золотые эполеты, трубачей, а итти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко и т. д. и думать, что между мной и им нет никакой разницы, что меня убьют или его убьют – всё равно, эта мысль убивает меня. Вы понимаете ли, как ужасно думать, что какой-нибудь оборванец убьет меня, человека, который думает, чувствует, и что всё равно бы было рядом со мной убить Антонова, существо, ничем не отличающееся от животного, и что легко может случиться, что убьют именно меня, а не Антонова, как всегда бывает *une fatalité*⁷⁴

⁷¹ [Я разбит.]

⁷² [достоинства в несчастьи]

⁷³ [отпечаталась на мне,]

⁷⁴ [рок]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.